Максуд Ибрагимбеков

Кто поедет в Трускавец

– Терпеть не могу стоять в очереди. И не стою никогда. Даже зарплату свою обычно на второй день получаю после всех, лишь бы в очереди не стоять. И в кино билеты заранее беру. Меня самый обычный разговор в очереди раздражает, самый пустячный, даже такой, который в других условиях я сам бы поддержал, – о спорте или, например, об искусстве, жутко раздражает. И еще ожидание на нервы действует. Невозможно до конца выдержать. И я не выдерживаю, ухожу, если надо больше десяти – пятнадцати минут выстоять. Впрочем, это раньше так было, когда у меня нервная система в абсолютном порядке была. А теперь меня никакими силами не заставишь в очередь встать. И не то что я какой-нибудь невротик или астеник, нет, просто нервная система у меня на все реагирует очень обостренно. Явно повышенная чувствительность, и ничего с этим не поделаешь. Единственный выход – оберегать ее от дополнительных ненужных нагрузок, что я и делаю в меру своих сил и возможностей.

Так что, если будет очередь – уйду сразу. Сделаю вызов на дом, это, конечно, хуже, гораздо хуже, придется весь вечер я боевой готовности дома проторчать, но ничего не поделаешь. Жизнь диктует свое.

В прошлый раз, месяца три назад, когда я сюда приходил, этой пальмы в коридоре не было. Это очень разумно, что пальму поставили. Вроде бы пустяк, а на больных ведь эта веселая зелень, без сомнения, благотворно подействует. Очень успокаивающе, особенно в сочетании с чистыми стеклами, желтым начищенным паркетом и лучами солнца – прямо не коридор поликлиники, а натюрморт в изумрудных и золотистых тонах в стиле Зверева. Не знаю, как на других, а на меня такие вещи сразу положительное действие оказывают. Приятно, ничего не скажешь. И у регистратуры ни одного человека нет. А уж это просто неслыханная удача и везение. Обычно у этого окошка нет-нет, а человека три-четыре всенепременно стоят. А сегодня никого. В общем, пока все складывается исключительно удачно. Заглянул в окошко – у полок с карточками две девицы со скучными лицами стоят и беседуют лениво. Улыбнулся я им, и не какой-нибудь отвлеченной вежливой улыбкой, а такой – как бы поточнее выразиться?.. – специальной улыбкой, направленной лично этим девушкам, каждой в отдельности. В ней все уместилось: и интерес к ним, и только что возникшая симпатия, и вырвавшееся, так сказать, на мгновение из-под контроля сдержанного, воспитанного человека тщательно скрываемое восхищение. Все в самых умеренных, очень точно отмеренных дозах. Они даже ведь не поняли, в чем дело, не задумались, даже не почувствовали, как все это произошло. А я уже благодаря этой улыбке автоматически перешел для них из разряда намозолившего за день глаза нудного бесполого пациента поликлиники в совершенно иной – высокий класс, законно претендующий на внимание и интерес людей. Через несколько минут без видимых усилий я узнал, как их зовут, и номер телефона, по которому их можно вызвать в дни дежурства и по которому я, возможно, когда-нибудь бы их вызвал, если не постарался бы тут же забыть этот номер, чтобы зря не загружать память. Мы поболтали славненько, а выражение лица у них при этом уже было такое, словно сидят они вечером где-то в летнем лесу на берегу

уснувшей реки у потрескивающего костра, и кто-то очень приятный и обаятельный играет на гитаре и поет песни Окуджавы или Высоцкого.

А больные, сидящие у дверей во врачебные кабинеты на стульях, соединенных в длинные жесткие конструкции, смотрели на нас по-разному – усмехаясь или с завистью, в целом же неодобрительно и с досадой. А ведь разговор у регистратуры мог показаться пустым и бесполезным только человеку поверхностному и не сведущему в деле, приведшем меня в поликлинику. Для меня же этот разговор был увертюрой, настраивающей и способствующей перемещению сознания в другую реальность, массажем и разминкой боксера перед выходом на ярко освещенный ринг, полосканием горла и распеванием за минуту до первого аккорда аккомпаниатора на концерте с вывешенным аншлагом. И это не преувеличение, потому что недостойно настоящего артиста-профессионала делить свои выступления на важные и менее, относиться небрежно к состоянию формы и позволить себе хоть один срыв, пусть самый мелкий… А ведь я тоже нуждаюсь в настрое, если хотите – во вдохновении, таинственном и прекрасном вдохновении, охватывающем все существо человека, ибо во мне тоже бьется творческое начало, и дар, которым оделила меня природа еще с детских лет, ничуть не беднее, чем талант певца, шахматиста или математика. Но об этом потом…

За минуту до того, как разговор стал иссякать (кроме меня, разумеется, этого никто не почувствовал), я попросил своих девиц из регистратуры отыскать мою карточку и отправить ее терапевту. Попросил в той же тональности, в какой прошла вся беседа, попросил так, что перехода они не заметили, – словом, попросил ласковым голосом свою приятельницу негромко сыграть что-нибудь на рояле, ну хотя бы «Вальс для Наташи», налил себе полрюмки коньяку и погасил еще одну свечу из последних двух.

Карточку они стали искать одновременно, иначе и быть не могло, потому что каждая из них была уверена, что я попросил ее, только ее! И они играли, вкладывая в этот вальс всю нерастраченную энергию, которая накапливается в душе и теле молоденькой девушки, целый день снующей между унылыми шкафами до потолка с полками, на которых, выстроившись в бесконечно длинные ряды, лежат карточки-тетради, на чьих страницах невозможно, сколько ни ищи, ничего найти о человеке другого, кроме подробных описаний почти всех болезней (во все времена его существования). Болезней, причиняющих человеку муки физические или стыд, лишающих его разума или вызывающих отвращение окружающих, уносящих силу и красоту.

Умный – не умный, личность – не личность, тупица или гений – ни слова в этих карточках об этом. Есть над чем подумать любителям-знатокам. Человек перенес недавно микроинфаркт, два года назад поставил две коронки, в детстве болел дифтеритом, коклюшем. Всего три вопроса: кто он по профессии? Счастлив ли? И, наконец, талантлив ли? За каждый правильный ответ три балла!

Плоскостопие или близорукость, кариес или аппендицит, камни в почках или геморрой… Гитлер или Чаплин, Фишер или Ганди, Шаляпин или Освальд? А это моя карточка, точно моя – на обложке указано.

А они играли. И в игре их чувствовалась та свежесть восприятия, нерастраченность молодости, перед которыми были бессильны все эти ряды зафиксированных болезней. По крайней мере, в тот день. Благодаря мне? Об этом потом. Самое главное – не отвлекаться!

Нашлась и моя карточка! Сейчас придет медсестра-курьер и отнесет ее терапевту. Листаю ее. Листаю небрежно, скользя вроде бы невнимательным взором по страницам, одновременно разговаривая, чтобы не привлекать внимания, – выдавать карточки на руки пациентам запрещено. Чувство такое, как будто в руках держу технический паспорт какой-то машины, где зафиксированы все поломки и способы их исправления. Болел столько-то, выздоровел тогда-то… А болезни все однообразными благопристойные, катар верхних дыхательных путей, грипп и воспаление носоглотки. Абсолютно безобидный список. Вроде меню диетической столовой – ни бифштекса с кровью, ни телятины с хреном, ни потрохов с уксусом и чесноком и водки с маслинами. Все продумано, все предусмотрено. Ничего опасного, ничего компрометирующего. И в случае поездки – в командировку специализированную или, скажем, в зарубежную туристскую – перечень этот никак повредить не может. И с общественным, и с любым другим мнением все в порядке, сердце абсолютно здоровое, и мозг никаким недугам не подвержен. На любой пост хоть завтра! Если в делах моих когда-нибудь и появится помеха, то только не «по состоянию здоровья». Вот так вот! А сегодня мне бюллетень необходим. Хоть на недельку! Как воздух необходим. Очень моя нервная система в этом отдыхе нуждается. Если ее не беречь, она ведь в один прекрасный день и перегореть может, вроде пробок электросчетчика квартирного.

Другому, с нормальными нервами, отпуска раз в год с избытком хватает. А у меня натура тонкая, на все раздражители мгновенно реагирует, а успокаивается медленно, с остановками, а возможно, и с потерями невосполнимыми.

Меня же не только очереди раздражают. Дома как будто полегче стало, с тех пор как я получил отдельную квартиру. А вот на работе… Но сейчас об атом ни слова. Отвлекаться нельзя. Вот она идет – медсестра, по кабинетам карточки разносящая.

. А терапевт-то, выяснилось, в пять часов только будет. Еще четыре часа район будет обходить с домашними визитами. Что это получается? Второй раз сюда ехать – весь день насмарку… Здесь подождать – с ума сойти можно… Выход обязательно должен быть. Не может быть, чтобы все так было наглухо перекрыто. Не бывает так!

Господи! Осенило наконец-то! А почему, собственно говоря, мне нужен именно терапевт? Да-а… Все-таки для развитого мозга служба бесследно не проходит. Полдня всего на работе побыл, а уже в мышлении инерция наблюдается. А я же к любому врачу пойти могу, к любому, лишь бы он бюллетени имел право выписывать. К кому бы попроситься? Перед кабинетом невропатолога всего два человека, но туда я не ходок, в карточку какую-нибудь вредную запись на всю жизнь получить можно, вроде «нервного истощения» или «моторного возбуждения», не стоит связываться, хоть бюллетень там можно получить запросто, с неограниченным продлением. Это перед «Ухо, горло, нос» столько народу толпится? Верных полтора-два часа ожидания. Золотой прииск, а не кабинет, только как бы добраться до него. Очень жаль, но сквозь эту толпу не пробиться. Поглядим, что дальше. Зубной. Нет уж. Непременно в пасть полезет со всякими допотопными железками. Без всяких разговоров. Самая примитивная область медицины – стоматология. Все на средневековом уровне. Ни в чем психология современного человека здесь не учитывается.

И в смысле бюллетеня наиболее бесперспективный кабинет. Дальше… Хирургический. Ни одного человека… А почему бы мне к хирургу не пойти? Итак, я иду к хирургу. А что это девицы мои переглядываются? Недоверия, даже самого легкого, не потерплю! Профессионализм во мне протестует. Придется потратить еще три-четыре минуты – тыл должен быть прочным и монолитным. Ну вот, все в порядке. Понимание с оттенком сострадания в глазах девиц достигло нужного уровня. Мятеж подавлен без репрессий, подавлен в самом зародыше. Иду в кабинет хирурга. Всего двенадцать шагов по желтому начищенному паркету, мимо пальмы с листьями в теплом свете. Мимо больных и стен, мимо каких-то дверей. Все сливается и исчезает. Я допиваю чашку крепчайшего кофе, делаю последнюю затяжку, провожу по лицу рукой, я готов, я готов… Я чувствую в себе это, оно пришло. Я готов для разговора со всеми хирургами мира. Доктор Барнард, найдите меня сейчас, вы можете сделать мне пересадку любого сердца, оно немедленно приживется. Хотите – легкие, хотите – почки. Белковый барьер для меня пустой миф. Сейчас приказываю я, мое тело; мой мозг – это резиновый шарик на моей ладони… Упругий, легкий. Удивительное ощущение, когда можешь все, когда ты над всем! Я открываю дверь, захожу в кабинет, здороваюсь. Делаю это сдержанно, с достоинством. Он сидит за столом и что-то пишет.

– Извините, я сейчас кончу, посидите минутку.

Все как надо, не придерешься. Он пишет, у него вполне интеллигентное подвижное лицо, тонкие выразительные черты, высокий лоб и усталые глаза – вполне допустим развитый интеллект. Пишет. Непредвиденная пауза. Ненужная. Самое главное – не сбиться с ритма, не потерять в себе ощущения чуда. Сосредоточиться. Чем я болен, чем же? Остановись! Никакой подготовки! Только импровизация! Он кончил писать, смотрит на меня, потом листает карточку.

– Вы в первый раз у нас? На что же жалуетесь?

На что я жалуюсь? На что я жалуюсь? Когда же это было? Ну, конечно, прошлым летом, совсем неважно когда, ведь на всю жизнь это останется в памяти. Ты только что вышел из дому утром на работу, и вдруг на расстоянии полушага от тебя раздался звук тупого удара об асфальт. Потом выяснилось, что он упал с четвертого этажа, сорвался с лесов. Но в первый момент ты ужасно испугался и у тебя заколотилось от страха сердце. Он лежал на асфальте в пыльном комбинезоне штукатура, с закрытыми глазами, без сознания. А ты бестолково суетился над ним, испытывая ощущение смертельной тоски и горя, – ты думал, что он умирает. Этот человек был в эту минуту самым родным для тебя – роднее не бывает, роднее всех людей, которых ты когда-либо знал в жизни, потому что это был первый человек, который умирал на твоих глазах. И в это мгновение ты был для него и отцом, и братом, покровителем, и защитником, и истинно мудрым вождем, скорбящим о смерти своего единомышленника. А может быть, в это мгновение ты был только тем, что именуется Человеком в подлинном, первозданном смысле этого слова. Потом он открыл глаза; и это ощущение безвозвратно оставило тебя. Ты помог ему встать и, с трудом приподняв, отнес, перетащил его в тень и сидел с ним рядом до приезда «Скорой помощи». За это время он еще два раза терял сознание, а комбинезон у него был мокрый от пота. Тебе казалось, что у него не осталось целой ни одной кости. Ты поехал с ним в больницу и ушел оттуда, окончательно убедившись, что он будет жить. А в машине он хватал тебя за

руку и хрипел от боли, и у тебя не было сил смотреть ему в глаза и слышать этот хрип. И нестерпимо было слышать сдавленный крик, когда санитар раздевал его, положил руку ему на колено. Это все до сих пор стоит в глазах твоих, живет в сознании.

– Вам очень больно? – с тревогой в голосе вдруг спросил врач, вглядываясь мне в лицо.

Я кивнул головой. Никаких гримас, ни одного слова жалобы.

– Где у вас болит?

– Колено.

– Какое?

«Какое? А ведь все равно какое. Левой – правой, левой – правой… Стой!»

– Левое.

– Пройдите, пожалуйста, за ширму, разденьтесь. Помогите больному раздеться, – это он медсестре.

– Нет, нет, спасибо, я сам.

Никакой помощи со стороны медперсонала, да еще вдобавок женского пола. Мужество всегда вызывает уважение. Пожалуйста, посмотрите на человека с достоинством. Несмотря на сильную боль, острую и режущую боль в левом, колене, он неукоснительно блюдет все приличия. По дороге к ширме не хромает, просто очень бережно ставит левую ногу при ходьбе, только для опытного взгляда врача.

Раздеваюсь медленно, не спеша. Каждый раз восхищаюсь, увидев свое тело. И радость эта не от какого-то Нарцисса идет, собою восхищающегося, да и сложение у меня далеко не безупречно, радуюсь я скорее за все человечество, за то, что предоставлено в распоряжение каждого человека – такой удобный, функционально целесообразный агрегат – человеческое тело. И до чего в нем все разумно и логично распределено! Пользуйся себе с наслаждением. Только с умом! А вот это колено, левое, – гвоздь сегодняшней программы. Под пальцами чашечка свободно передвигается над суставом. Удивительное сооружение! Под кожей, наверное, у этой чашечки поверхность блестящая, как у луковицы с содранной шелухой. Очень ясно я все это увидел – и чашку коленную, и сустав. И еще увидел, как распухает все вокруг чашки, мышцы жидкостью нездоровой наливаются, темно-красной, все сетью воспаленных сосудов покрываются, а каждая нитка нервов на своем месте от боли вздрагивает – пульсирует.

Сижу за ширмой, а в глазах эта действующая картинка-схема стоит. Я никуда ее с глаз не отпущу до прихода врача. Смотрю себе на эту картинку, и все детали, самые мелкие, как на ладони.

Осмотр идет по намеченному плану. «Здесь болит, здесь не очень», ревматизмом не болел. Венерическими тоже. «Ну, что вы, доктор, я бы сразу сказал – ничего позорного в этом не вижу, болезнь как болезнь, с каждым может случиться, но не болел». Вид у него довольно-таки озабоченный, пора приходить на помощь. «Травмы? Не знаю, доктор, может ли это иметь отношение к этому случаю. Три года назад, на тренировке, я а институте баскетболом занимался. Колено сильно ушиб». Расскажем, как это было, великая штука –

подробности. Воспрял, воспрял доктор-то мой! Говорит, что вполне вероятно. Говорит, что для организма ничего бесследно не проходит. Родной ты мой! Я же тебя сейчас всей душой люблю! Я понимаю, доктор, понимаю. Откладывать не буду, и на рентген пойду, и анализы все сделаю. Значит, абсолютный покой. Мне бы вот только на работу завтра во что бы то ни стало сходить надо. Всего один день?! Это для страховки, на всякий случай. «Никаких выходов на работу. Абсолютный покой!» Молчу, молчу! Перебьюсь как-нибудь. Обойдутся без меня на работе. «Через три дня покажитесь с результатами анализов». Договорились. Возможно, что у меня артрит? В первый раз слышу. Возможно, что он перейдет в хронический, если я не буду беречься? Господи, так и ноги можно лишиться!

– Доктор, а можно мне массаж колена делать? Он боль хорошо снимает, – побольше заинтересованности в голосе.

– Никаких массажей. Вы можете внести неясность в картину болезни. Принимайте только то, что я вам прописал. Там есть и болеутоляющее.

Удивительно симпатичный человек! Умница и интеллигент. Я настоящего интеллигента сразу могу распознать. А у этого врача за плечами минимум два поколения интеллигентов. Добрый доктор Айболит из районной поликлиники. И на лице сострадание к моим мукам и ярко выраженное желание помочь мне от них избавиться. Все правильно – не зря, значит, человек давал клятву Гиппократа. Произносил, наверное, ее возвышенные и трогательные слова и мечтал о нейрохирургии, об операциях на мозге, о своей школе и Нобелевской премии. Ведь тогда небось и предположить не мог, что меня будет пользовать в этой районной поликлинике, сказали бы сразу – засмеялся, тем более что тогда меня еще и на свете не было… Мечтал. По глазам вижу. Типичные глаза мечтательного человека. Так и получается – «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Грустно, доктор, но не получилось у тебя, не умел схватить жизнь за ворот жесткой рукой. Не у всех это получается. А ведь самое главное в жизни – это момента не упустить. Вовремя понять это и все время быть готовым к тому, чтобы распознать свой шанс. И тогда уж действовать без промаха… А за сочувствие, за внимание и доброту – спасибо.

В бюллетене прописью и цифрами первые три дня прекрасной жизни. На лестнице слегка прихрамываю. Это уже по инерции. Двадцать минут приема – девять дней свободы. Как минимум! Неслыханно высокий коэффициент полезного действия! Черт! С девочками из регистратуры попрощаться забыл. Так можно все впечатление о себе загубить. Ну да ладно. Возвращаться неохота. В следующий приход компенсирую.

Что это?! Для районной поликлиники очень неплохо… Очень недурно и неожиданно. Спускается по лестнице походкой Марии Стюарт, идущей на плаху в фильме под названием… Ну да бог с ним с фильмом! Нет вы только посмотрите на нее! Такая девочка и идет как ни в чем не бывало по этой пошлой лестнице, а все вокруг, вместо того чтобы немедленно забросить все свои дурацкие дела по оздоровлению своих и чужих организмов и прибежать полюбоваться ею, делают вид, что не замечают ее. А может, и впрямь не замечают? Вот ведь что болезнь делает с человеком. Обогнать, немедленно обогнать и отворить ей дверь на улицу.. Прошла мимо. Даже головы не повернула в мою сторону, кивнула только слегка без улыбки, мол, воспринимаю как должное, спасибо, и на этом все… Девяносто девять процентов мужчин на моем месте попытались бы

использовать тот кивок и заговорить с ней, и из девяноста девяти процентов попыток ничего бы не получилось! Не тот случай.

Духи, очень знакомый запах. Ага… «Быть может». Это уже, конечно, не высший класс. Жаль. Удивительно общей картине не соответствует. Но ничего, не будем торопиться с выводами.

А ведь она чувствует, что я за ней пошел. Ни разу не обернулась, хоть и была возможность два или три раза на перекрестках сделать это, но не обернулась. А то, что я за ней иду, она знает, это даже по походке заметно. Чуть напряженней она стала после встречи у выхода, еле уловимо, еле заметно, но изменилась. Значит, какой-то контактик все-таки намечается.

Ну не будем преувеличивать насчет контакта, скажем, имеем ситуацию, в которой, кажется, намечается возможность наладить контакт, так точнее будет. Размеры и форма возможности пока неизвестны. А мужчины на улице ее все замечают, ни один встречный равнодушно не прошел мимо… Реагируют все по-разному, это уже от воспитания зависит или общего развития. Один проходит мимо с равнодушным лицом и еще при этом делает вид, что молочной витриной любуется, другой идет навстречу по строгой прямой, никого и ничего вокруг не замечая, наморщив лоб и выкатив глаза, как на сеансе гипноза в пионерском лагере в вечер, свободный от фильма. А вот этот дурак, например, с физиономией мясника, успешно окончившего институт искусств, остановился как вкопанный и неотрывно смотрит ей вслед.

И почти у всех в это время выражение лица выигравшего в лотерее пятидесятилетнего холостяка, терзаемого сомнениями выбора – электрическая мясорубка или деньги.

Эх, хомо сапиенс, хомо сапиенс! На глазах ведь в корне меняешься, все позиции завоеванные теряешь, стоит только с выдающейся самочкой встретиться!

Что ж ты, голубчик сапиенс, в это время унижения не испытываешь, а только радость, и восторги, и еще трепет, и вибрацию пронзительную, пинками проворно вышвыривающую из твоего мозга модерн самой последней конструкции, весь гигантский багаж научных познаний, по крупицам собранный и переданный тебе бесконечной вереницей предков и приумноженный собственными стараниями, и с ним вместе богатства несметные, жемчужины чистейшей воды, выращенные в раковинах и ретортах интеллекта, как планы и проблемы охраны живой природы, экономии нефтяных ресурсов, опреснения морской воды и тесной дружбы с цивилизациями ближайших галактик?

А зря все они на нее так уставились! Поздно спохватились! Хотя их и упрекнуть не в чем, они ведь и знать не знают о встрече на лестнице в районной поликлинике № 18, они ведь и на меня внимания не обращают, идущего по тому же тротуару с видом безразличным и даже скучающим.

Им и в голову не приходит та единственная очевидная мысль, что игра уже, так сказать, сделана, а на их долю остаются только бесплодные надежды и сладостные несбыточные мечты восьмиклассника, влюбившегося с первого взгляда в укротительницу тигров и пантер в последний день гастролей цирка шапито.

А походка у нее удивительная! Очень это важное дело – походка женщины. Я по ней многое определить могу. А у нее она гордая и смелая – женщины, уверенной в своей красоте, знающей, что нет на чулках у нее ни единой морщинки и намека на складку на подоле юбки

сзади, что веет от нее той благородной опрятностью и свежестью, которые свойственны только женщинам высшего класса. Походка женщины, привыкшей к мужским взглядам и не обращающей на них внимания, и вместе с тем сознающей, что это – величайшее благо, дарованное немногим избранным среди многих миллионов женщин, лишенных этого качества – мгновенно привлекать внимание мужчин и вызывать желание в них, – и остается этот бесценный дар природы предметом жгучей зависти женщин, лишенных его, как бы старательно они ни притворялись перед окружающими и собой, утверждая, что главное в женщине – это нежность души и высокая устремленность духа. Удается некоторым счастливится убедить себя и поверить в это благополучно до конца жизни, но многим, и хорошо, если только один раз, доводится убедиться, что ничто в этом мире не подменяет другое, и становится тогда наволочка мокрой от слез в тот самый предутренний час Быка, когда засыпают на короткое время воля и самообладание и выплывают из глубин души и сознания чувства и мысли, которые во все остальное время человек бдительно держит в заточении, в тот самый час Быка, когда рождается и умирает большинство людей на Земле.

И что еще я увидел в ее походке, увидел и почувствовал сразу, – это сдержанность и целомудрие, выражающие ее суть и прекрасные своей естественностью и простотой.

Это, наверно, почувствовал не только я, потому что ни один человек не осмелился задеть ее или попытаться заговорить с ней, так как чистота – это одна из тех немногочисленных истинных ценностей, которые никогда не подвергаются инфляции в сознании почти всех людей, даже вне зависимости от количества извилин и объема мозга.

Я шел за ней, удивительно красивой и приятной, и чем больше я на нее смотрел, тем больше мне становилось ясно, что женщина эта того уровня, с которой можно пойти куда угодно, даже на традиционный вечер в институт, куда раз в год съезжаются все, кто, пробыв в этом здании пять лет, покинул его с одинаковым итогом – дипломом, и на весь этот вечер, соскочив каждый со своей ступеньки, захваченной в послеинститутской жизненной борьбе, в бешено твистующий зал, предварительно закусив и выпив у столов в коридоре, становятся на целый вечер безрассудными прожигателями жизни, выпивохами н жуирами, многоопытными и насмешливыми, беспощадно строгими ценителями женской красоты; даже в гости к нашему директору, без всякого риска испортить настроение его жене, женщине с фигурой и внешностью д'Артаньяна, которая бешено ревнует его, маленького и толстого диабетика, подозревая почти всех остальных женщин, за чрезвычайно редкими исключениями, в жгучем желании в любое время и в какой угодно точке пространства отдаться ее мужу.

Удивительно приятно на нее смотреть. Даже и не заметил, как дошел до проспекта Маркса, и все в довольно-таки приличном темпе. Посмотрел бы этот доктор Айболит из поликлиники, как его пациент с больной коленной чашечкой по городу вышагивает, – глазам бы своим не поверил. А если бы поверил?

Наверное, в результате таких вот случайностей и избавляются люди от идеалов – превращаются в брюзг и циников.

При чем здесь доктор? Всегда какие-то дурацкие посторонние мысли лезут в голову, когда дорога каждая минута, ведь предпринимать что-то же надо!

Смотрины-то давно пора кончать. Вместо активных действии – бесполезное пока гуляние. Ни к черту не годится. Видно, сказывается усталость после напряжения в кабинете врача. Расслабленность какую-то ощущаю. Конечно, для нервов все эти сеансы бесследно не проходят. Необходим отдых. Только не сейчас. Больше такого случая может и не представиться. Быстро план действий! Легко сказать – план, собственно, никакого особого плана здесь и придумать нельзя, обстоятельства – улица и незнакомая женщина, с которой надо познакомиться, – из всех бессчетных способов оставляют лишь один, не дозволенный для человека, вышедшего из периода беззаботного двадцатипятилетия, и просто запрещенный для человека, желающего при всех случаях сохранить достоинство и не желающего оказаться в смешном и глупом положении, но единственный. Очень простой способ, известный еще неандертальцам, – подойти ни с того ни с сего к жертве и сказать ей что-нибудь, желательно приятное, и желательно, чтобы она выслушала до конца. Со стороны же этот способ не что иное, как глупейшее и пошлейшее приставание к приличной женщине, идущей по своим делам по одной из центральных улиц.

В случае неудачи, а шансы на неудачу неограниченные, кроме презрения в ее глазах, этот способ пробуждает чувство гражданственности и рыцарства в любом прохожем в диапазоне порядочности или качеств, его внешне заменяющих, от старой девы, не вышедшей в свое время замуж по причине застенчивости и обостренной стыдливости, до бывшего работника собачьей бойни, уволенного за жестокое обращение с собаками.

Степень возмущения, а также активность защитников жертвы уличного приставания обычно проявляется в строгой пропорции к достоинствам ее внешности. И сегодняшний случай был именно тем, когда рыцари и джентльмены успокоились бы не раньше, чем разодранный ими на части труп приставалы не был бы благополучно опущен в люк канализации на углу улицы Карамзина и проспекта Маркса.

С ума сошла! Или дальтоник, или сумасшедшая! Черт его знает, что происходит, она же на красный свет устремилась, и не где-нибудь на пересечении Колодезного переулка и Шорного тупика, а в центральной части проспекта Маркса, в самый что ни на есть час «пик»!

И правильно все возмущаются, меня самого зло берет, когда вижу человека, который на моих глазах нагло рискует своей жизнью и чужой безопасностью. Была бы моя воля – лишал бы таких права проживания в крупных городах на разные сроки в зависимости от степени вины… Одними штрафами, конечно, не обойдешься…

Идиот! Кретин с реакцией дизентерийного индюка. Штраф бы он брал. Слава богу! Радуйтесь, люди, – наконец-то отыскался нужный стране реформатор. Вот он стоит в толпе у перехода на проспекте Маркса, торопитесь, хватайте его и назначайте председателем горисполкома или еще кем-нибудь повыше, скорее, , успеете, этот ублюдок стоит с выражением морды горного бара на которому подарили водные лыжи или камертон для настройки рояля. Этот баран смотрит ей вслед, и до него никак не может дойти, что в эту самую секунду в красном свете светофора, под звуки автомобильных моторов и сигналов тихо умирает его единственный Шанс.

Еще бы миг – и она попала бы под троллейбус, идущий слева направо, это всего за полмгновения до того, как я чуть не очутился под колесами «Волги», истерично завизжавшей всеми тормозами и покрышками, через вечность в два мгновения мы оба

одновременно чуть не попали под троллейбус, стремительно идущий уже справа налево, и сразу вслед за этим выскочили на показавшийся мне очень спокойным и смирным, даже можно сказать, неподвижный тротуар, и это удивительно, что я успел заметить, чем занимается тротуар, потому что я уже давно, после первого троллейбуса, достаточно крепко и вместе с тем совершенно не причиняя боли, держал ее за руку чуть выше локтя.

– Вы хотите попасть именно под троллейбус? – с легкой усмешкой спросил я, считая, что при сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая нехватку времени на обдумывание, это вполне приличная фраза. Во всяком случае, она могла охарактеризовать меня в глазах моей собеседницы как человека мужественного, не теряющего в минуту опасности присутствия духа и даже способности шутить.

Она засмеялась и кивнула головой.

Я переводил дыхание и одновременно с этим готовил вторую фразу, которая после первой должна была прозвучать «Прерванной серенадой», исполненной Муслимом Магомаевым в сопровождении большого симфоджаза, по сравнению с «Голубкой», спетой хором пенсионеров под аккомпанемент баяна и электрической гитары. Но тут я увидел, как из своей стеклянноалюминиевой капсулы выскочил милиционер и направился к нам, исполняя на единственном, имеющемся в его распоряжении, простейшем музыкальном инструменте столь же незамысловатые трели – рулады, хоть и не представляющие никакой ценности с позиций высокого искусства, но в отличие от него мгновенно оказывающие эмоциональное воздействие. И строго избирательно.

Это был самый лучший милиционер в мире, вполне возможно, что это был даже не милиционер, а инопланетный пришелец, обладающий способностью в несколько раз ускорять события с помощью свистка и свирепого выражения лица, потому что уже на втором свистке мы переглянулись с ней, как люди, понимающие друг друга с полуслова, и, разом сорвавшись с места, скрылись за углом.

Мы пробежали еще полквартала, скорее по инерции, чем по необходимости, и, остановившись, засмеялись.

И самое главное, все это время я продолжал держать ее под руку, и она отняла у меня ее только потому, что она понадобилась ей самой для того, чтобы поправить волосы, выбившиеся из-под косынки из блестящего материала цвета фисташковой рощи, сквозь стволы и ветви которой проглядывает ярко-зеленая трава с разбросанными на ней то там, то сям маками и еще какими-то прекрасными цветами, современной науке пока неизвестными. Над этой фисташковой рощей, оглашая окрестности радостным щебетаньем, резвились птички – удоды и ласточки, зимородки и необыкновенные воробьи; в тени деревьев порхали над пестрыми цветами разноцветные бабочки и шмели, тихо налетал теплый ветерок, напоенный ароматом далеких рек и солнечных долин, ласково теребя зеленые листья и крупные фисташковые гроздья ярко-фисташкового цвета…

Я с удовольствием любовался этим сиропным ландшафтом и почему-то, вместо того чтобы почувствовать себя круглым кретином, испытывал ощущение умиления и радости в той ее стадии, которую любой, менее сдержанный человек, чем я, наверняка назвал бы ликованием, восторгом и блаженством. Я ощутил тогда всю беспредельность этой радости,

стоя под начавшиеся ливнем на неказистой улице со странным названием Карусельная рядом с женщиной, имени которой я еще не знал. Я испытывал сожаление – чуть более увлекающийся человек сказал бы, что им овладела грусть и меланхолия, – в тот момент, когда почувствовал, что это невесть откуда нахлынувшее пьянящее волнение исчезло так же внезапно, как и появилось, оставив на излучине медленно текущей реки хаотические заросли бурого камыша в том самом месте, где не так давно отражались в студеной прозрачной воде белые цветы лилии и лотоса.

Есть одно местечко, которым я дорожу больше, чем Парфеноном и всеми египетскими пирамидами, мечетью Айя-София и собором святого Петра, венецианским Дворцом дожей и городом Бразилиа с окрестностями, а также башнями Пизанской и Останкинской, вместе взятыми. Вслух я об этом никогда не говорю по причине уверенности, что мое мнение почти обязательно вызовет недоверие у людей, склонных по складу характера к сомнениям, возражение со стороны снобов и возмущение у лицемеров, пользующихся любой бесплатной возможностью для того, чтобы продемонстрировать те высокие помыслы и принципы, которыми они якобы руководствуются в жизни. Пустая трата нервов! Я вот только дорого дал бы за то, чтобы посмотреть на их физиономии в тот момент, когда им объявляют о появившейся возможности полностью восстановить в первозданном виде все сады Семирамиды в натуральном висячем положении и Александрийскую библиотеку со всем инвентарем за такую ничтожную, но единственную плату, как их собственная кооперативная квартира, без последующей компенсации. Я бы их послушал: «Дело не в нас, а в принципе, реставрацией архитектурных памятников должно заниматься государство, а не мы. Мне свою квартиру не жалко, мне принцип дорог! И потом, почему именно я?» И уйдет этот идеалист-кудесник ни с чем, даже если, разгорячившись, предложит в запальчивости за ту же плату – хату водрузить ради пользы всего человечества посреди синь-моря не какой-нибудь остров Буян со скудной флорой и фауной и банальной формой правления, а всю Атлантиду с воскресшими в полном составе атлантами и атлантками, с вновь обретшими силу законами неведомой конституции, военным и торговым флотом, храмами, рабами и оловянными рудниками. Плюнет и уйдет. А в разговоре с людьми ограниченными и глупыми, составляющими, как это ни печально, категорию весьма обширную и неуклонно после очередных демографических взрывов и извержений увеличивающуюся, высказывать свое мнение не только бесполезно, а и вредно для здоровья, по причине урона, непременно наносимого высокоорганизованной нервной системе контактами с представителями вышеназванной категории.

Я пришел в это самое прекрасное местечко на Земле сегодня довольно-таки поздно. И как только переступил порог, меня постепенно стало охватывать привычное, но никогда не приедающееся ощущение спокойствия, уюта и покоя. Оно овладело мной полностью после того, как, вытерев в передней мокрые ботинки и включив в комнате неяркий, мягкий свет, я переоделся и ненадолго присел в кресло. Телевизор я выключил сразу же после того, как глянул на экран – там ансамбль песни и танца лихо исполнял танец, бешеный темп и умопомрачительные па которого явно обладали способностью переубедить самого убежденного скептика, без должного почтения относящегося к скрытым богатствам резервов человеческого тела.

В другое время я, пожалуй, посмотрел бы несколько номеров, но сейчас, на ночь, проникаться животворными ритмами ансамбля песни и танца было равносильно тому,

чтобы перед самым сном услышать сообщение по радио, что в той самой стране, куда ты собирался выехать через два дня по туристской путевке, и в связи с этим уже перетерпел все прививки, объявлен карантин по случаю эпидемии холеры или коклюша, и запить эту мобилизующую все душевные силы весть двумя чашками густого кофе, сваренного из свежесмолотого харрари, напополам смешанного с мокко. Я, конечно, не стал ломать голову над тем, какие цели преследует телевидение, предлагая на ночь всему смотрящему телевизоры населению столь мощный стимулятор, пошел и поставил пластинку. Григ на меня всегда действует в высшей степени умиротворяюще, и особенно эта часть «Пер Гюнта» с танцем Анитры и дальше. Это была как раз та музыка, словно специально написанная для меня, благодаря которой я теперь мог рассчитывать на крепкий, спокойный сон, совершенно необходимый после событий истекшего дня. Внезапно я почувствовал сильную усталость, приходится признать, что все-таки теперь мне эти сеансы даются ценой колоссального напряжения, сказывается уже, видимо, возраст, – раньше я все это проделывал шутя.

Очень интересный журнал «Наука и жизнь». Я к нему с большим почтением отношусь. Еще ни одного неинтересного номера я не видел. Полностью держит своего постоянного читателя в курсе всех событий в мире. Я считаю, что если человек регулярно читает его, то он может считать себя хорошо информированным человеком в любой области науки и современной жизни. Ну а если дополнительно еще к нему на «Знание – сила», «Техника – молодежи» и «Здоровье» ты подписан, то можно быть уверенным, что ничего не будет пропущено из того, что происходит в сегодняшнем мире. Все собираюсь написать им благодарственное письмо, никак руки не доходят. На днях напишу непременно.

Вот этот номер, вроде бы уже старый, а сколько интересного, причем на любой вкус, возраст и развитие.

А вот эту статью я бы всех холостых мужчин заставил наизусть выучить, очень убедительная статья, и написана хорошо, и все выводы подкрепляются статистическими выкладками.

Вот она, табличка, из которой явствует, что подавляющее большинство гениальных и одаренных людей родилось от тридцативосьмилетних отцов и от матерей в диапазоне от восемнадцати до двадцати пяти лет. И чем дальше в любую сторону от этого драгоценного тридцативосьмилетнего пика, вероятность появления одаренного ребенка падает все ниже. Интереснейшая табличка! Посмотрим, что обо мне в ней обозначено. Двадцать шесть лет – малоутешительно, вероятность рождения талантливого ребенка минимальная. А для чего мне неталантливый, если от самого человека так сильно зависит, будет ли он иметь одаренного сына? Хорошая статья и полезная. Интересно, кто это сумел собрать все эти цифры и факты, вот это и есть настоящий ученый, который не витает в облаках и приносит своим трудом практическую пользу. Столько лет человечество существует, а он взял и первый догадался, определил, какие условия нужны для создания гения. А это ведь государственное дело. Даже обидно, что любой, кому не лень, может прочитать ее. Что мне еще приятно, так то, что я чисто интуитивно, своим умом пришел к такому же выводу насчет сроков женитьбы! Это же каким безответственным человеком надо быть, чтобы чуть ли не с юношеских лет связать себя по рукам и ногам. А в тридцать восемь – пожалуйста, игра уже сделана, ты всего, что тебе положено, уже достиг, жил как хотел, и никто тебе помехой не был. А тут еще в перспективе одаренный ребенок намечается. Только и забот – найти

невесту в диапазоне от восемнадцати до двадцати пяти лет. А после того, как главное условие соблюдено можно и присмотреться получше, чтобы собой приятна была и из семьи нормальной, без деформированной наследственности…

Ладно, хватит! Еще двенадцать лет до этого, прекрасный период для человека понимающего и с головой! Пластинка кончилась, можно, конечно, перевернуть, но не стоит, ибо уже наступил момент, когда все отступает перед тахтой с простынями и наволочкой, пахнущими свежестью и прохладой, перед сном, нежной, ласковой пеленой обволакивающим сознание, возвращающим силы, восстанавливающим бодрость тела и мозга.

А девочка эта хороша, ничего не скажешь. Тот случай, когда стоит постараться, тем более что случай не из трудных. Самое главное уже сделано, теперь только и остается, что организовать Первый Приход согласно испытанным стандартам. Впечатление я на нее произвел хорошее – это уж точно известно, сейчас важно не сбиться с темпа, а посему завтра же проведем операцию по простейшей схеме № 1 – первый вечерний сеанс в кино, после фильма «совершенно некуда пойти в этом городе вечером, можно в ресторан, но противно», разговор о музыке и записях, дальше, будем надеяться, появится ситуация, когда самым небрежным тоном можно пригласить «за неимением ничего лучшего» на «чашку чаю». Если откажется в первый вечер, ни в коем случае настаивать нельзя. Все переносится минимум на сутки. Можно вспугнуть… А если приглашение будет принято – можно считать, что первая прекрасная страница нового романа написана, женщина она явно со здравым смыслом, замужем однажды уже побывала и, без сомнения, отлично понимает, что сулят в моей квартире «чашка чаю и немного музыки» и еще немного не заявленного в программе коньяка…

Какая-то изюминка в ней определенно есть – и в манере держаться, и разговаривать. Даже когда чепуху говорит, у нее получается мило: «А мне все равно – красный или зеленый, терпеть не могу, когда за мной кто-то ходит, вот и пошла на красный с целью оторваться от шпиона». Явно, когда-то знавала лучшие времена, наверное, когда отец ее был жив. Это еще ведь чудо, что при парализованной матери и сбежавшем муже она сумела обойтись почти без потерь, по крайней мере с первого взгляда заметных. Говорит, мужа не осуждает, и у кого совести хватит его осудить – изо дня в день только и видеть, что парализованную тещу и нежно ухаживающую за ней жену. И это в свои самые лучшие годы.

Им еще повезло, или ума хватило, что быстротечный брак их не создал ребенка. Парализованная мама плюс ребенок, о котором заранее известно, согласно новейшим исследованиям, что стать вундеркиндом него почти столько же шансов, сколько у меня получить настоятельное приглашение полететь в корабле, выполняющем первый рейс на Луну. Тут уж навсегда пропала бы охота разговаривать с таинственными и находчивыми незнакомцами, по счастливой случайности посещающими районную поликлинику в тот же день и в тот же час, когда она выходит из нее с рецептом для матери.

Тут-то мы ее и заприметили, тут-то мы на ее счет все и решили. И ничего дурного при самом трезвом размышлении я в этом не вижу. Распускать же слюни, как человек, воздействию пошлых сантиментов и мелодрамы не подверженный, я категорически не намерен. Я думаю, и ей полезно рассеяться, и мне. Кроме приятных ощущений, это ничем не грозит. И парализованной маман никакого ущерба не предвидится от того, что ее дочери

представилась возможность расширить свой кругозор и освежить некоторые воспоминания, составляющие весьма существенную и приятную сторону почти каждого супружества, особенно в начальный его период, в обществе интеллигентного и привлекательного мужчины, каким, по справедливости, выгляжу я среди остальных двух миллиардов без малого мужчин, которые, если бы им довелось собраться всем вместе и выразить свое мнение на мой счет посредством свободного и тайного голосования, без всякого сомнения, отвели бы мне место в рядах первых двадцати миллионов, составляющих по своим физическим данным и умственному развитию самую здоровую часть человечества и являющихся обладателями куда более ценных качеств, таких, как способность творить и умение увидеть в пестрой окраске мира на три-четыре цвета больше, чем это доступно остальным… Шутки шутками, а уснуть не удастся. Видно, этот сегодняшний прием у хирурга продолжает оказывать свое действие, нервы никак после возбуждения успокоиться не могут… А может быть, я из-за цветов нервничаю, из-за того, что полить их забыл? Встать, что ли? Лучше встану, а то не сумею о них забыть до самого утра. Все-таки я очень нервный!

Без сомнения, это был один из самых лучших осуществленных Первых Приходов, какой только можно себе представить и пожелать. Человеку, натуры мне родственной, незамедлительно на все реагирующему и запоминающему происшествия, случающиеся с ним на длинной извилистой Дороге Жизни, с ее чрезвычайно разнообразными, еще никем не упорядоченными и полностью не составленными путевыми правилами движения, такому, – если бы он мне встретился в подходящей обстановке, только ему, отмечающему достающейся ему на этой дороге памятью каждой клетки все травмы, все до одной, то есть не только самые тяжелые, а и все остальные, даже незаметные окружающим, не заставляющие очень уж надолго страдать и очень презирать себя, такие, как легкие подзатыльники и небрежные щелчки по носу, безразличные и высокомерные взгляды, усмешки и ухмылки, цель которых – унизить, и улыбки с жалостью или пренебрежением; случайно услышанный за дверью или благодаря несовершенству техники телефонный разговор, вызывающий на лице, несмотря на энергичное сопротивление опытных в искусстве притворства мышц и кожи, выражение недоумения и горечи; вот только такому человеку, непременно обладающему природной способностью или научившемуся умению запомнить' и оценить подлинно хорошее и просто приятное, божественно прекрасное и незатейливую красоту, миг немыслимого счастья и примитивного удовольствия, ценящему мелкие и большие радости жизни, воспринимающему не как должное, а с благоговением и благодарностью те заветные вывески, изредка встречающиеся на обочине Дороги, под которыми оборудованы для удобства следующих по ней уютные стоянки, где в самую тяжелую жару, от которой темнеет в глазах и запекаются губы, можно утолить жажду прохладной водой на ветерке в тени деревьев и согреться в лютый, останавливающий кровь и сжимающий сердце мороз, – пожалуй, только ему, вызывающему у меня доверие, я бы мог многое рассказать, потому что уж он наверняка мог бы понять, почему меня радует Первый Приход.

Он ни разу не улыбнулся бы и тогда, когда я назвал бы сегодняшний Приход удивительным и непохожим на другие, потому что был он, если оно существует, совершенством по форме своей, проявившимся в изящной простоте, когда я неожиданно даже для себя, стоя напротив нее в фойе кинотеатра, в котором через двадцать минут должен был начаться

сеанс, сказал, что я очень хочу, чтобы мы немедленно ушли отсюда, я сказал, что прошу ее уйти со мной. Я увидел по ее глазам, что она удивилась, почувствовал это по минутной заминке, прежде чем она ответила, что согласна, сразу сделав ненужными все те еще не произнесенные мною привычные фразы, истинная ценность которых была известна, теперь я это знал, и ей, фразы, дающие возможность нам притвориться, что соблюден неведомо кем и когда укомплектованный набор пунктов благопристойности, и позволяющих ей делать вид, что идет она ко мне со специальной целью пить чай, смотреть телевизор или слушать музыку, но только не для того, чтобы побыть со мною наедине… Если бы он продолжал меня слушать, а я очень надеюсь, что так оно и было бы, то я сказал бы, что Приход этот был прекрасным и по скрытому содержанию своему, потому что в самый момент, когда она, не заставив меня прибегнуть ни к одному из моих хитроумных, основанных на доскональном Знании женской натуры приемов, обычно предшествующих Первому Приходу, кивнула головой, я очень точно почувствовал, что это не бездумное согласие легкодоступной женщины и, что мне понравилось гораздо меньше, но все равно понравилось, не внезапно вспыхнувшее желание женщины, которой вдруг понравился мужчина. Передо мною стоял человек, который был убежден, что его правильно поймут, и я вдруг неизвестно отчего ощутил чувство, очень похожее на гордость. Мы вышли из кинотеатра и пошли ко мне.

Я, пожалуй, признался бы еще вот в чем – для меня в тот вечер так и осталась неясной причина, побудившая ее с такой готовностью отказаться от принадлежавшей ей привилегии своего положения желанной, непознанной женщины, бесспорно красивой и знающей об этом, – немедленно довести до моего сведения представление о всей значительности чести, мне оказанной, или, что почти одно и то же, описать колоссальную ценность жертвы, мне приносимой в виде совершаемого ею сегодня вечером, конечно же, впервые уникального для нее поступка, а затем, дождавшись с моей стороны покорной и многократно повторенной констатации этого факта, незамедлительно снова нажать на пресс и давить до тех пор, пока пересохший желоб и вызывающий оскомину скрип не дадут понять, что выжато до последней капли все, что можно было тогда выжать… Все происходило совсем не так: рядом со мною шел человек, который был почему-то убежден, что его правильно поймут. И я, вдруг неизвестно отчего, обнаружил, что меня переполняет какое-то чувство, очень похожее на гордость, хотя я и не имел никакого представления о том, в чем суть ее правоты и в чем причины ее уверенности.

Не знаю почему, но я даже не попытался обнять ее, когда помогал ей в передней снять плащ, хотя в некоторых случаях считал это необходимым, так как легкая непринужденная попытка, предпринятая достаточно осторожно, без риска обидеть, с тактом, обладает в одном случае, случае неудачи, свойствами особой лакмусовой бумажки, моментально воссоздающей четкую картину возможностей и реальности ближайших перспектив, и всеми качествами катализатора в другом, активизируя начало и значительно ускоряя ход приятных событий. Я вспомнил об этом только в комнате, мельком, но с досадой, потому что кое-что знал насчет легких промахов, часто беззаботно – скачущих, не оставляя следов, по ровной поверхности воды, в виде камушков, брошенных в бассейн детской рукой, но иногда, хоть и не часто, вызывающих падением своего легковесного неодухотворенного минерального тельца, измеряемого в граммах и сантиметрах, неотвратимое

стремительное движение многотонных каменных и снежных лавин, чреватых неисчислимыми бедствиями и неподвластных самой сильной человеческой воле.

Впрочем, я очень быстро перестал думать о бассейнах и всех явлениях природы в тот момент, когда мы вошли в комнату.

Она с любопытством осматривала ее, сразу же встав из кресла, куда я ее усадил, и неторопливо расхаживая: ненадолго останавливаясь перед книжными полками и двумя-тремя картинами на стене, комбайном, в котором компактно разместились телевизор, магнитофон и радиола, изготовленным для меня дизайнерами – ребятами из нашего НИИ, перед тахтой с покрывалом, разрисованным теми же дизайнерами, и небольшим столиком-тумбочкой рядом с изголовьем, в которую я вмонтировал, предварительно расписав его дверцу, маленький бар-холодильник «Морозко», стеклянную полку для стаканов и рюмок и ящик для сигарет и зажигалки.

Вдруг я с удивлением обнаружил, что этот осмотр вызывает во мне какие-то непривычные ощущения, пока непонятные, но не настолько, чтобы не догадаться, что они совсем не того типа, какие испытывает человек, показывая в первый раз родственникам и соседям свою олимпийскую медаль.

Было непонятно, чем это вызвано, потому что я точно знал, и никто меня в этом не мог бы переубедить, что все в моей квартире – начиная с ванной, из которой я выбросил ванну (пребывание в ней непременно рождало в воображении тоскливый образ типовой золотой рыбки, посаженной в стандартный аквариум) и собственноручно выложил на ее месте небольшой бассейн, облицованный цветным кафелем, и кончая комнатой, без мебели-ширпотреба, экономно уставленной предметами, сочетающими в себе качества функциональные и эстетические, с очень небольшими отклонениями, соответствовавшими представлениям о хорошем вкусе любого городского жителя при условии, если он ходит в кино, иногда летает самолетами, просматривает газеты и телевизор, два или три раза за свою жизнь побывал в опере и в любом музее, кроме исторического, и не держит в доме кошек в количестве больше двух одновременно.

Я спросил у нее, будет ли она пить чай или кофе, и отправился на кухню поставить чайник; вернувшись, я обнаружил, что она уже сидит в кресле и задумчиво улыбается, глядя на небольшой пластмассовый пульт дистанционного управления комбайном на столике перед нею, о котором до сегодняшнего вечера мне было известно, пожалуй, все, кроме способности вспыхивать «огнем нежданных эпиграмм», очевидно, чудесным образом, впервые проявившейся за время моего кратковременного пребывания на кухне.

Она засмеялась, когда я об этом сообщил, и ее смех прозвучал удивительно волнующе и нежно, сразу же сделав еще более мягким неяркий свет, сгладив все неровности на кресле, которые я ощущал непрерывно, с того момента, как сел напротив нее, шеей и локтем, и дополнив музыку новыми нотками, позволившими вдруг почувствовать всю красоту ее и необычность.

Я сварил кофе и, осадив с помощью нескольких капель холодной воды гущу, налил его в чашки и принес в комнату. Я спросил, не режет ли ей глаза свет торшера, стоящего напротив нее у тахты, и она, улыбнувшись, сказала, что режет. Она улыбнулась еще раз, когда я небрежно спросил, не хочет ли она выпить с кофе рюмочку коньяка, и сказала, что хочет.

Мы сидели друг против друга в полутемной комнате, неторопливо беседуя, пили кофе с коньяком и слушали музыку. Это оказалось на редкость приятным занятием – разговаривать с ней, и видеть ее, и вместе с тем знать, что все идет как надо, без досадных неожиданностей, чувствовать себя человеком, единолично направляющим события и спокойно ожидающим подходящего момента, когда нужно сделать следующий шаг.

– Пора, – воспользовавшись паузой, неожиданно сказала она, глядя на меня с улыбкой, в которой я на этот раз явственно увидел иронию, даже скорее легкую насмешку.

– Что пора? – спросил я, не имея никакого представления о том, какой последует ответ, но почему-то уже отчетливо понимая, что услышу что-то неожиданное и неприятное.

– Наверное, танцевать, – сказала она. – Я ведь сужу по записям твоего магнитофона. Сперва шла музыка успокаивающая, я бы сказала, умиротворяющая, располагающая к общению с людьми, а теперь пошел очень приятный ритм медленного танца… Очень хорошо у тебя подобрана музыка. По хорошо продуманной схеме, да? Интересно, что дальше пойдет. Я уверена, все предусмотрено.

Вот чего я не люблю, так это неприкрытый цинизм. Ведь у нее-то пока никаких оснований нет говорить мне такое. Какое ей дело до того, как у меня подобрана музыка? Как хочу, так и записываю. И что уж мне совсем не понравилось, так это то, что я почувствовал, как краснею, что было, по крайней мере, нелепо и непонятно.

– Я даже не думал, что в моих записях есть какая-то система, – стараясь говорить как можно небрежней, сказал я. – А потанцевать с тобой я очень хотел бы, ничего в этом удивительного нет.

– Мы еще потанцуем, – пообещала она. – Чуть позже. – Она продолжала улыбаться. – Ты знаешь, что меня поразило в твоей квартире? – сказала она. – Поразило, как только я в нее вошла?

Не знаю, что может поразить человека в моей квартире. Сколько ни думай. Приходили же и до нее люди, и в немалом количестве, и никогда никого ничего не поражало. Квартира как квартира, все во имя удобства человека. Вообще, конечно, интересно, что это ее так поразило, хотя уже мне стало абсолютно ясно, что ничего приятного я не услышу.

– Если бы я был человек с самомнением, я бы подумал, что я, – сказал я для того, чтобы что-то сказать.

– Ее сходство… – сказала она и улыбнулась еще раз, уже улыбкой с откровенно повышенным процентным содержанием иронии, почти приблизившимся к уровню, могущему считаться обидным и даже оскорбительным.

– Сходство с чем?

– Ты не обижайся, – сказала она кротким голосом. – Ты ведь сам прекрасно понимаешь, в чем дело. Удивительно твоя квартира похожа на западню, на очень хорошую, оборудованную по всем правилам науки западню. Я сперва даже не поняла, что меня в ней поразило. А потом вдруг осенило – западня! Самая настоящая западня! Удобная, теплая, мягкая, усыпляющая внимание. Прекрасная западня. Специально созданная на погибель

женщины. Гибнут, наверное, не очень тебя задерживая, стоит им только побыть в этой атмосфере чувственной неги и уюта, да?

Нет, в этот вечер я не сказал бы такого. Во всяком случае, для погибшей ты, девчонка, чересчур активна. Но какого черта я должен это выслушивать? И самое главное, ведь никаких оснований у нее так разговаривать нет! Повода-то я еще никакого не давал! Нет-нет, пора обижаться. Но не очень сильно, так, чтобы не выглядеть смешным.

– Мне кажется, – сказал я, – что у тебя очень сильно, развито воображение. Видно, сказывается твоя профессия художника-модельера.

– Может быть, и так, – согласилась она. – Ты не обиделся? Не обижайся, ладно? Я ведь почти начала поддаваться, у тебя кресло удивительное, как будто обнимает плечи ласковыми руками, а тут еще музыка. Ты ее здорово подобрал, действует с каждой минутой все больше, прямо сознание обволакивает какой-то приятной пеленой. Ну и коньяк тоже…

Господи, хоть бы покраснела. Первый раз в жизни сталкиваюсь со столь неприкрытым цинизмом. А все-таки интересно, какое я занимаю место в этой ее шкале квартирных элементов-соблазнителей. Лестно бы занять почетную полочку где-нибудь между кофе и коньяком, а то ведь можно очутиться в одной компании с домашними туфлями и зубочисткой.

– Никогда не подозревал за своей квартирой таких волшебных качеств. Буду теперь о них знать и пользоваться ими для достижения самых гнусных целей, – сказал я и засмеялся, при этом сразу же поняв, что ни от кого еще в жизни не слышал такого отвратительного смеха.

– Ты все-таки обиделся, – огорченно сказала она. – А жаль. Я ведь не хотела этого. Ты пойми, я тебя нисколько не осуждаю. Ты все делаешь правильно. Просто мы с тобой играем в разные игры. Я тебе все это сказала для того, чтобы ты мог вовремя остановиться и не очутился в глупом положении. Извини, если у меня это получилось грубо.

– Все нормально, – сказал я. – И обижаться мне не на что. Мне кажется, что тебе все показалось, о чем ты говорила. Или, как минимум, ты сильно преувеличила. Но спорить я не стану, думай как хочешь.

И впрямь, пусть думает как хочет. Не буду ее ни в чем переубеждать. Очень мне нужно. Вот только вечера жалко, первый свободный вечер, так сказать, драгоценный вечер благородного Бюллетеня, и так нелепо и безвозвратно гибнет на глазах. Теперь самое главное спасти его остатки, отступить медленно, без еще более ощутимых потерь для самолюбия и достоинства.

– Я у тебя еще немного посижу, ладно? Не беспокойся, я скоро уйду. Очень у тебя хорошо. Да и ты очень приятный человек. Честное слово. Будем считать, что тебе сегодня не повезло. Просто мне ничего этого не нужно. И не хочется.

Не хватало мне только на сегодня роли добросовестного невропатолога, допытывающегося об истинных причинах депрессии у пациента, страдающего ложной стыдливостью. Хотя стыдливости здесь и в помине нет, давно я не слышал столь грубого по своей откровенности разговора. Нет, все-таки маска человеку обязательно нужна. Ничего хорошего не получится, если все начнут не стесняясь выдавать друг другу, что у них на уме.

Спрашивается только, какого же черта ты пришла, если ты такая проницательная, знала же, что не в библиотеку тебя приглашают? Остались бы в кино, и то лучше было бы…

– У тебя сложилось на мой счет какое-то мнение, и ты говоришь, исходя из него, – недоуменно пожав плечами, сказал я. – Предугадывая твои последующие мысли, я предупреждаю, что ни набрасываться на тебя, ни подсыпать в кофе снотворного я не собираюсь. Также не буду силой препятствовать тебе, когда ты соберешься уйти, а даже провожу до такси. Кстати, насчет снотворного, хочешь еще чашку кофе?

– Ты и вправду очень милый, – сказала она. – Я хочу еще чашку кофе, хочу еще немного посидеть у тебя, а теперь, когда нам обоим все ясно, даже потанцевать мне хочется.

Мы выпили еще немного кофе с коньяком и пошли танцевать. Она еле уловимо улыбнулась, когда я попытался коснуться губами ее лба, и легко, но решительно отстранилась.

Мы танцевали, и хотя это было очень приятно – медленно двигаться с ней под прекрасную музыку, видеть рядом со своим ее лицо, ощущая кожей ладони тепло ее тела, вдыхая душистый аромат ее волос, испытывая волнение и желание от ее осязаемой близости, – несмотря на все это, я чувствовал себя тем самым невезучим енотом, получившим от остановившегося перед его клеткой в зоопарке посетителя с раскрытым пакетом нарезанной, соблазнительной, дурманяще пахнущей колбасы – черствый бублик, от которого только и пользы, что его можно повозить по полу клетки, тщетно пытаясь себе представить, что это и есть вожделенный розовый кружок с белыми пятнышками жира и божественным вкусом, или даже погрызть его в целях упражнения челюстей и заточки зубов, но без всякого удовольствия, и не испытывая к этому посетителю-дарителю ничего, кроме как чистосердечного презрения и неприязни.

Мы выпили еще по чашке кофе и рюмке коньяку под звуки песни, исполняемой незнакомым певцом. Я переписал ее недавно, точную дату этого события могут назвать почти все мои соседи по этажу и блоку, считавшие в первые дни звучания этой песни своим гражданским долгом немедленно позвонить в дверной звонок и с встревоженным видом спросить у меня, что происходит в квартире и не нуждаюсь ли я в их немедленной помощи и защите.

Это была выдающаяся мрачной первозданностью своей мелодия в сочетании с титанической по силе и бросающей в дрожь выразительностью тембра голоса, песня, оказывающая на человека ни с чем не сравнимое по своей мощности эмоциональное воздействие. Как будто в этом голосе воплотились в едином гармоническом сплаве вся сила и все умение Имы Сумак, Василия Алексеева, квартета скрипок и двух тамтамов. В наиболее спокойных, по сравнению с другими частями этой песни, можно сказать без преувеличения, почти жизнерадостных местах начинало вдруг казаться, что певец оплакивает какие-то, без сомнения хоть и печальные для каждого, но все-таки не самые ужасные события из истории и настоящего человечества; в эти минуты явственно представлялось, что он безмерно грустит по поводу безвременной кончины всех без исключения жертв кораблекрушений, не делая никакого различия в глубине своей печали для погибшего экипажа эллинской галеры и пассажиров «Титаника», или скорбит, вместе с тем сдержанно возмущаясь, по поводу необратимых последствий истребления

африканской флоры и европейской фауны; в местах же, достигающих высшей точки оркестрового и вокального подъема, слушателя охватывало ощущение беспомощности и бессилия в связи с отсутствием всякой возможности помочь талантливому человеку, у которого какие-то злоумышленники живьем вырывают селезенку и желчный пузырь, одновременно требуя у него немедленного согласия на законный и фактический брак с вдовой Гиммлера.

Мы почтили последний аккорд совместным молчанием, а потом она посмотрела на часы и сказала, что ей пора уходить и что она очень давно, даже вспомнить нельзя, до того это была давно, не засиживалась так поздно в гостях. А сегодня это оказалось возможным, потому что с больной мамой осталась приехавшая на несколько дней ее проведать двоюродная сестра. Еще она сказала, что через неделю у нее начинается отпуск, она с матерью, у которой вдобавок к параличу еще больная печень, поедет в Трускавец, куда они выезжают ежегодно.

Я представил себе эту парализованную маманс, характер которой, наверное, под благотворным влиянием больной печени и постоянного лежания с каждым днем приобретал новые ценные качества, приближающие его к совершенству, длинные вечера в ее обществе в квартире, пахнущей лекарствами и болезнью, и подумал, что моей гостье не очень повезло в жизни.

Вслух же я выразил ей легкое сочувствие в самой необидной, ненавязчивой форме, сказав, что она молодчина, так как, без сомнения, это очень трудно – совмещать работу с уходом за больной матерью, самоотверженно отказываясь во имя этой высокой и гуманной цели, предполагаю, от многого, в том числе и от семейной жизни. Я старался говорить как можно сдержанней, но ее все равно что-то задело, она покраснела и ответила мне, что в любом случае о своем разводе ничуть не жалеет, потому что этот ее бывший муж не выдержал элементарного испытания жизнью, и ничего, кроме легкого презрения к нему и удивления по поводу того, как она могла его полюбить, она не испытывала.

Про себя я посочувствовал этому парню, благополучно для себя и своего потомства не выдержавшему «элементарное испытание жизнью», заключающееся в ежедневных содержательных беседах с парализованной, исходящей, наверное, желчью тещей, в развеселых ежегодных поездках-пикниках на лоно природы в Трускавец или еще в какой-нибудь такой же госпиталь, и подумал, естественно, также про себя, что интересно, как бы выглядела эта высокая самоотверженность в аналогичном случае с той незначительной разницей, если бы в роли страждущей героини выступала не теща, а свекровь.

Еще она сказала, что трудно было только первое время, с непривычки, а сейчас она привыкла, заработок позволяет ей нанимать на то время, что она на работе, сиделку-домработницу. Сказала, и в интонации ее мне послышался вызов, что, кроме матери, у нее никого нет, и она ее очень любит и будет делать все, что как-то скрасит ей и без того тяжелую жизнь.

Она посмотрела на меня, а я, видно, несколько перестарался, изображая на лице искреннее участие и сочувствие, уместные для человека, выслушивающего у себя дома грустную историю, рассказываемую прекрасной гостьей, и сказала, что, в общем, это

совсем не страшно, что с ее стороны нехорошо обременять своими заботами меня, и, улыбнувшись, попросила на все ею сказанное не обращать внимания.

Все равно мне стало приятно, что ее беспокоит мое настроение, и стало еще приятнее, когда она заметила, что есть во мне нечто, что расположило ее, всегда сдержанную и даже скрытную, к откровенности, хотя если говорить начистоту, то вся эта история произвела на меня приблизительно такое же впечатление, какое производит антиалкогольная лекция на случайно прослушавшего ее пьющего интеллигента: вроде бы все логично и общественно правильно и вместе с тем в той же степени абсурдно и практически неприемлемо.

Я предложил ей посмотреть по телевизору румынские мультипликационные фильмы, которые должны были начаться через несколько минут, но она очень решительно отказалась и встала. Я с досадой понял, что удерживать ее бесполезно и так хорошо начавшийся вечер безнадежно пропал. Я шел за ней в переднюю, возлагая надежды только на Второй Приход. Она надела плащ и теперь стояла передо мной, произнося учтивые слова прощания и признательности за приятно проведенный вечер. Я же думал в это время, что она удивительно красива какой-то необычной, мягкой красотой лица и тела своей ненавязчивой женственностью, не бросающейся в глаза, но волнующей, ощутимой в каждом ее слове, каждом движении. Я подумал, что те усилия, которые мне придется приложить в оставшиеся до ее отъезда семь или восемь дней, стоят того, и еще я, между прочим, порадовался, вспомнив о счастливом совпадении, которое позволит мне заполнить предстоящие десять дней отдыха, любезно предоставленного мне Министерством здравоохранения, в высшей степени содержательно, под знаком приключения самого высокого уровня, связанного с очень красивой и очень желанной женщиной, приключения того типа, что оказывают самое благотворное влияние на всю нервную систему и оставляют в человеке после своего благополучного и своевременного окончания чувство уверенности в себе и силы.

Я спросил у нее насчет завтрашней встречи, о времени, удобном для нее, дав понять, что готов пожертвовать всеми своими делами и планами, если они назначены на тот час, который она назовет.

Она ответила, что завтра мы не увидимся.

Что и говорить, я предпочел бы услышать другой ответ, однако любой ответ является всего-навсего не чем иным, как одним из бесчисленных, постоянно меняющихся по сути своей ответов и вопросов, непрестанно и хаотически меняющихся вариантов, лишь в самом конце, в сумме своей, составляющих то гигантское сочетание с невыведенной формулой, именуемое человеческими взаимоотношениями.

Я сказал ей, что ни в коем случае не буду настаивать на том, чтобы мы встретились непременно завтра, что в моих глазах ценность этой встречи ничуть не уменьшится, если ее отложить на один или даже несколько дней, но стоит ли так расточительно тратить время, зная, что в нашем распоряжении остается всего лишь какая-то жалкая неделя перед отъездом в Трускавец.

По-моему, она неприметно улыбнулась при слове «нашем», впрочем, может быть, мне показалось, во всяком случае, когда я кончил, она была совершенно серьезна.

– Дело в том, – сказала она, – что мы никогда больше не встретимся.

Она посмотрела на меня, но я промолчал, ожидая продолжения, которое должно было последовать.

– Мы никогда не встретимся. Мне это не нужно, словом, я этого и не хочу. Поверь, дело совсем не в тебе… Просто мне все это ни к чему, неинтересно, понимаешь? Для меня этот жанр давно уже исчерпал свои возможности…

Все ясно, сейчас пойдет крещендо, с рассуждениями о потребности души в настоящем, так сказать, об истинной и непреходящей ценности тщательно выделанной, но скромной на первый взгляд дубленки по сравнению с самой яркой синтетикой…

– Ты не обижайся, ладно? Все-таки я себя чувствую перед тобой немножко виноватой, а ты ведь ни при чем в этой истории. Ты, наверно, про себя думаешь, зачем же я тогда остановилась с тобой на улице и, если не собиралась видеть впредь, пришла к тебе?

Это и впрямь ведь очень интересно – услышать ответ на чистейшей воды риторический вопрос.

– Я скажу из благодарности к тебе, ну и еще потому, что сейчас мы прощаемся. Вчера, когда ты меня встретил в поликлинике, ты не можешь даже себе представить, до чего мне было плохо. Да, собственно говоря, никто представить не может. Никогда так плохо не было. Хотелось чуть ли не заплакать в голос или закричать. А я ведь сильная и умею держать себя в руках. Я поговорила с маминым врачом, и он мне вчера впервые сказал, что никаких надежд на выздоровление мамы нет, что она навсегда обречена на неподвижность. Я об этом и раньше догадывалась, но отгоняла эти мысли, ужасно боялась поверить и все-таки на что-то надеялась. Думала, она выздоровеет и когда-нибудь этот кошмар кончится. Я шла – до сих пор не пойму, как это я нашла дорогу домой, потому что передо мной стояла розовая пелена, за которой я ничего не видела. И только думала, за что же мне такое, почему это все досталось именно мне – и мамина болезнь, и смерть отца, и ничтожный муж? Я уже только на середине проспекта очнулась, когда ты меня за локоть схватил… Прошло это уже, слава богу. Я ведь тебе и вправду очень благодарна за сегодняшний вечер.

Все понятно, мавр сделал свое дело, выдадим мавру медаль за спасение утопающих или на пожаре… Но мавр-то недоволен, желает получить вместо медали, а еще лучше вместе с ней и шарф, собственноручно связанный нежными ручками прекрасной дамы. Вот ведь в чем дело.

– Ну вот и все. Сперва сомневалась, говорить или нет, а теперь рада: хорошо, что сказала тебе обо всем, а то потом совесть мучила бы, что нехорошо обошлась с тобой. Ты бы ведь всякое подумать мог, что обидел меня чем-то или внешность у тебя отталкивающая для разведенных женщин, с которыми так легко знакомиться на улице. Просто мне всё это, ну как тебе сказать, чтобы ты понял, просто элементарно неинтересно и даже, извини, смешно. Совершенно мне все это не нужно. Пойми, я не цену себе набиваю и тебя не стараюсь на дальнейшие уговоры воодушевить. Не нужно все это. Так что ты уж поверь мне, что я правду говорю, и не поминай лихом. Желаю тебе завтра наверстать все сегодняшние потери. Знаешь, сколько сейчас девочек хороших ходит с желанием, чтобы их приласкали.

Только подведи их к краю такой западни, и всем сразу же станет хорошо. Ну ладно, извини, извини, я пошутила. Побегу. Всего тебе доброго!

А я верил. Правда – она ведь всегда правда. Каждому слову ее поверил, испытывая при этом признательность принципиального и пытливого, видящего истинный смысл жизни в неустанном поиске правды правдоискателя, в тот момент, когда проникнувшаяся наконец его убеждениями жена сообщает ему, что совершенно случайно, но не без удовольствия, отдалась сегодня управдому, зашедшему днем по вопросу ремонта-форточки.

Я не знал, что сказать ей, не знал, что сделать, чтобы удержать ее, потому что меня охватило ненавистное мне состояние беспомощности и неотвратимости, неизбежности того, что я бессилен остановить. Мне было неизвестно средство, могущее меня от него освободить, и еще я пронзительно ясно почувствовал, что после ее ухода это ощущение останется со мной.

Мы стояли в передней, и она говорила какие-то прощальные слова, может быть, шутила, так как на лице ее была улыбка, во взгляде моем теряющая постепенно четкие очертания, и я уже с трудом улавливал их значение, чутко прислушиваясь, еще не совсем в это серя, к тему, что происходило во мне. А потом я перестал слышать и понимать звуки ее слов и смысл их оттого, что все существо мое захлестнула освежающая волна, разорвавшая одним ударом в клочья все путы и сети, туго стягивающие под черепной крышкой мозг, наложенные на него для того, чтобы не вырывался он за отмеренные ими пределы, для того чтобы с рождения и до смерти находился им воспринимаемый мир в тисках и под надзором лишь пяти только и ведомых ему чувств. И вторая волна, смявшая, словно оно из ваты, время и легко, играючи, переставившая местами раскрашенные кубики пространства.

…Я стоял с нею на нависающей над невидимым морем скале, называемой за необычный голубоватый оттенок «Синей». Было уже темно, но ветерок, налетающий с моря, пахнущий водорослями и простором, был легким и теплым. Только и были видны звезды и слышны, кроме спокойного рокота моря, звуки музыки из лагеря, где ребята уже, как обычно, заканчивали ужин и собирались на танцы,

Мы стояли, прижавшись друг к другу, и почти не разговаривали, потому что это был последний вечер перед моим отъездом в Москву. Я целовал ее, и мне было грустно от мысли, что с завтрашнего дня нам предстоит разлука, потому что я очень любил Элю, самую красивую девушку нашего института, неизвестно в силу какого недоразумения и неслыханного моего везения полюбившую меня, отвергнув многочисленные, получаемые в письменной и устной фирме уверения и предложения со стороны самых выдающихся людей, включая институтских чемпионов по боксу и шахматам, одного ленинского стипендиата и заместителя декана нашего факультета. И вместе с тем я ощущал в себе счастье в его самом первозданном чистом виде. Без преувеличения, это было то ощущение бесконечного счастья, какое чрезвычайно редко даруется человеку, безмерного и необозримого в благости своей, как звездное небо в теплый весенний вечер, над тихим садом с цветником белых роз…

Если бы тогда я знал…

Это был наш последний вечер, и первый, когда она не уговаривала меня остаться, никуда не уезжать, потому что с моим переводом в МГУ все было уже окончательно решено. А

еще, может быть, потому, что сегодня я рассказал ей о настоящей причине своего отъезда – о матери и отчиме.

«Это же всего шесть месяцев, родная… Ты приедешь ко мне в Москву, и я встречу тебя на аэродроме». «Ты так легко сказал: шесть месяцев…»

«И еще полтора года, а потом мы всегда будем вместе. Представляешь, каждый день! С ума сойти!»

Мы стояли на этой скале, и она была для нас самым уютным местом на всей Земле, квартирой с уютной спальней, с завешенными белыми занавесями окнами, выходящими на солнечную площадь с голубями, на море, с детской комнатой, где мы играли на пушистом ковре в кубики с нашим ребенком, с письменным столом, за которым я работал вечерами до той минуты, пока ко мне не подходила Эля и, обняв меня, прижавшись ко мне головой, не начинала говорить на ухо смешные слова, которые знала только она…

Если бы я знал тогда…

Она говорила, что очень меня любит, а я ее гладил по плечам и целовал в обветренные губы и глаза и тоже чуть не плакал, потому что Я ведь очень любил, так как никого и никогда ни до, ни после нее. Я говорил ей о своей любви и о том, что буду считать каждый день до встречи с нею, буду писать ей каждый день и звонить…

«Я тоже уеду с тобой завтра, не хочу здесь жить без тебя». «А институт?»

«Черт с ним! Или тебе нужна обязательно образованная жена?»

Я говорил ей какие-то разумные, ласковые слова, успокаивал ее, потому что был спокоен за нашу любовь и за наше будущее, так, как только может быть спокоен человек с сердцем, переполненным нежностью и любовью.

«Ты меня правда очень любишь?» «А кого мне еще любить, кроме тебя?» «А вдруг ты меня разлюбишь в Москве?» «Не могу, если даже очень захочу. Никого у меня нет в целом свете, только ты. Я и жить без тебя не хочу».

«Я тебя буду ждать каждый день и каждую ночь видеть во сне. Ты почувствуешь это?» «Да, родная».

Она помещалась у меня в руках вся – маленькое любящее человеческое существо, которое я был готов защищать до последней капли крови, единственное, необходимое мне тогда и во все времена потом, и я целовал ее и вдруг ощутил тоску, щемящую и странную, потому что не мог тогда знать ничего из того, что мне предстояло испытать потом.

Ты должен любить меня всегда, я умру, если ты меня разлюбишь".

«Я люблю тебя, Эля! И никто мне больше не нужен!»

Я ее увидел, как мы и условились, через шесть месяцев, которые навсегда опрокинули мир. Она молча стояла передо мной, с лицом, покрытым коричневыми пятнами, с пожелтевшими белками глаз, лицом, какое иногда бывает на шестом месяце беременности. Я хотел отвести взгляд от ее живота и кольца на ее руке, надетого тем самым парнем из нашей группы, который всегда уверял меня, что я не умею толком жить

и никогда не научусь, и не мог. Я ничего не спросил у нее о проклятой вечеринке в его доме, на которой она выпила как раз столько, чтобы с того дня ей хотелось выпивать столько же всю жизнь. И я ничего не сказал ей о том, что мне хочется умереть…

Я говорил ей все слова, которые она не услышала от меня в тот день, они рвались, обгоняя друг друга, из самого сердца, и не было в них укора или обиды, а только нежность. Я говорил ей о своей любви, не отпускающей меня ни днем ни ночью. Я говорил ей о величайшем, ни с чем не сравнимом счастье быть рядом с любимым человеком и готовности во имя этого счастья простить все.

Я рассказывал о страданиях, равных которым нет в жизни, нестерпимой боли воспоминаний, боли навсегда утраченной, изувеченной чужими руками любви. Я сказал ей, что не хочу без нее жить, потому что не могу так жить, и каждое слово мое было правдой, идущей от сердца… Я говорил ей… говорил…

Она стояла в передней, прислонившись спиной к двери, откинув голову. Я увидел ее глаза, в которых светились восторг, и неслыханная мука, и ожидание, я увидел побелевшие кисти рук, охватившие плечи, и еще я увидел ее губы.

Я просто лежал и думал. Я говорю – думал, за неимением другого подходящего слова. Мне даже кажется, что такого и слова не существует, посредством которого можно определить состояние мышления человека, который проснулся утром в превосходном настроении и, лежа на своей кровати, старается ни о чем не думать по той простой причине, что ему очень приятно и спокойно, и ни в каких, даже самых возвышенных или практически выгодных мыслях у него потребности нет. К сожалению, это состояние продолжалось очень недолго – я почувствовал, как мозг, словно стыдливая восьмиклассница, застигнутая врасплох на задней парте новым учителем, молодым и чрезвычайно мужественным, за выщипыванием бровей во время сочинения, мгновенно встрепенулся и заработал не останавливаясь, возможно, даже более старательно, чем обычно, хотя ему, а следовательно и мне, было абсолютно ясно, что сегодня никакой нужды в этой суете нет. Вообще ради справедливости должен сказать, что я им доволен. Мозгом. Ни разу он еще меня ничем не подводил. Бывали, правда, случаи, когда мне казалось, что в некоторых критических ситуациях он был недостаточно быстр, но потом, спустя некоторое время, поразмыслив, я приходил к убеждению, что при очень высоком качестве его решений это была, пожалуй, максимально возможная скорость. Конечно же, я им очень доволен. Я ведь ему многим обязан. Благодаря ему все в жизни дается мне гораздо легче, чем подавляющему большинству моих близких. Многое в нем меня восхищает. И еще, и в этом я убежден, думая об этом, я всегда испытываю ощущение уверенности и радости – я знаю точно, что не открыл для себя все возможности и качества его, еще скрытые для меня, подобно залежам урана, до поры до времени спокойно лежащим на дне интенсивно разрабатываемого свинцового рудника или золотого прииска. Я знаю, что когда-нибудь, может быть, сегодня, а может быть, через десять лет, этот день наступит, я не знаю, где он застанет меня – за письменным столом или в постели, в лаборатории, на пляже, или в самолете, но я жду встречи с ним, когда он выступит, и прозвучит «откройся. Сезам», и родится в ослепляющем людское воображение озарении дитя с именем, еще никому не ведомым, но прекрасное в своей гениальности, в той же степени и в том же ряду, что «Война и мир», теория относительности или «Героическая симфония»… Стоп! Хорош, хорош! Ничего не скажешь. Настроение у меня и

впрямь, видно, отличное. Ну что ж, остановимся и вывесим табличку: "Посторонним… ", а еще лучше, чтобы это не выглядело чересчур серьезным: «Посторонним В.», и улыбнемся при этом как «все-все-все», кто увидел ее на дверях одного поросенка, очень хорошо понявшего ее смысл…

А может быть, и не будет этого дня. Обойдемся и не будем стонать и ныть.

Так или иначе, наступит этот день или нет, будем держать себя в постоянной форме. И самое главное – ни к кому не привыкать, а следовательно, ни от кого не зависеть. Чувство – самый страшный враг независимости. Один раз удалось выпутаться, понеся крупные потери при переходе из сословия «раб чувств» в разряд «свободный гражданин», второго не будет.

А когда наступит тот день… Интересно, кто бы это мог так рано позвонить?

– Я слушаю.

Все понятно. Как я сразу не догадался? Все-таки великое качество – такт. Я убежден, что любого человека, потратив на это дело какое-то время и энергию, можно отучить плеваться на улице или в саду при зоопарке и даже есть при помощи ножа котлеты и рыбу… Можно. Любые хорошие манеры можно привить, а вот насчет такта – абсолютно безнадежное предприятие; или он есть, или его нет, и никогда уже не будет. Возьмем, к примеру, сотрудников нашей лаборатории: и того, с которым сейчас разговариваю, и двух остальных, что стоят рядом и шлют мне приветы. Люди вроде интеллигентные, да и не «вроде», а действительно интеллигентные, и образование у них выше не бывает, а с тактом дела из рук вон плохи… Это же элементарно – нельзя больному человеку звонить так рано! Ведь они-то уверены все, что я болен, так какого же черта звонят в такую рань?

– Здравствуй, дорогой мой! Гораздо лучше. Думаю, что дня через два-три буду в состоянии прийти. – Господи, только этого мне не хватало! Собираются прийти навестить. Ведь весь отдых к чертям полетит. – Спасибо, спасибо, очень тронут… У меня все есть, не беспокойтесь. Я был бы очень рад, если бы вы пришли, но, честно говоря… – Последние слова надо сказать, понизив тон, и после них сделать паузу человека, который смущается.

Удивительно ценная вещь – инерционное мышление собеседника, всегда на него можно рассчитывать – моментально сработало, даже слова он сказал те, которые я от него ждал, те самые слова, которые позволили мне в ответ скромно, но вместе с тем неуловимо игриво хихикнуть, как мужчина, – которому есть что скрывать.

– Между нами говоря, ты тоже в этой области своего не упустишь. И не старайся, все равно не отгадаешь. Вы ее не знаете. – Пора переводить разговор. Еще, чего доброго, растрогают меня эти разговоры. – А как последние замеры? Как с графиком дела?.. Что?! Кривая, по крайней мере, должна быть на два порядка ниже! – Теперь ясно, почему они позвонили сразу, как только пришли на работу. Непонятно только, для чего была нужна увертюра с вариациями на тему о здоровье, лекарствах и фруктовых соках. И чего это проклятая линия ни с того ни с сего полезла вверх? .

– Да не нервничай ты так, ничего еще не случилось… Ну еще подумаем, время пока терпит. Ты мне можешь подробно рассказать вчерашнюю операцию? Вот и прекрасно, прочти по журналу… – Читает, а голос прямо дрожит от волнения. Я-то его понимаю: если эта

проклятая кривая не остановится, то опять придется начинать сначала, весь месячный труд насмарку, но, понимая, такого волнения не испытываю. Не должен человек из-за пустяков так расстраиваться, ведь его тогда на мало-мальски крупное просто физически не хватит, а этот читает с таким выражением в голосе, как будто у него в руках не лабораторный дневник-журнал, а, по крайней мере, роман с главами ."Библия", «Коран» и «Талмуд». Так-так, так! Или мне это показалось, или он все же это сказал – «ноль целых одна десятая», а ведь должна присутствовать всего лишь одна сотая… В любом случае торопиться не будем. Не будем. Никаких вопросов. Через страницу эта цифра опять будет произнесена… Есть! Точно – «одна десятая». Прекрасно. Ларчик открывается просто, но дадим его сперва подержать всем по очереди. Пусть сперва все трое пройдут над миной, в данном случае именуемой «одной десятой», чтобы ни у кого из оставшихся двух не было возможности сказать: «Я непременно заметил бы эту ошибку, если бы читал журнал сам. Ты же знаешь, на слух цифры всегда воспринимаются хуже…» – или что-то в этом роде. Сейчас главное – установить и довести до сведения моих собеседников, что ошибку совершили все, естественно, кроме отсутствующих, в частности меня. Приступим к фиксации. – Спасибо. Ты извини меня, пожалуйста, но я не успел сделать кое-какие пометки. Тебе придется прочитать все сначала… – Как можно небрежней: – Передай дневник Алику, пусть он и прочитает, нечего ему бездельничать. Да я нисколько не сомневаюсь, что тебе нетрудно, но пусть и Алик потрудится, тем более что сегодня я его голоса еще не слышал. И ради бога, не волнуйся так, что-нибудь всем коллективом придумаем… – Хороший голос у Алика, по телефону особенно заметно, сразу же и мембрана зазвучала удивительно полнозвучно, словно это не типовая угольная пластинка трубки польского аппарата, а стереофонические динамики «Эстонии» или «Грундика», из которых доносится внешне бесстрастный, но полный внутреннего драматизма голос диктора Центрального радио, читающего ту часть сообщения о землетрясении в Перу или тайфуне над Пакистаном, где рассказывается об убитых и раненых, страдающих от голода и холода и зарождающихся эпидемий. Он кончил читать как раз на том месте, где обычно начинается лаконичный абзац с вестью о том, что медикаменты, продовольствие и остальные предметы первой необходимости при катаклизмах, безвозмездно посланные Красным Крестом, уже находятся в пути, на борту быстроходных самолетов. Будут, будут самолеты со спасательным грузом на борту, и прилетят они вовремя – Красный Крест уже принял решение. Но с объявлением повременим.

– Так, так. Я здесь все записал, сейчас просмотрю и подумаю. И вы думайте. Вместе на что-нибудь и набредем. Я к вам через часик позвоню. Ну, конечно, если раньше что-нибудь надумаю, позвоню сразу. Честно говоря, я не думаю, чтобы было что-то уж очень серьезное, скорее всего какая-то ошибка не конструктивного характера… Ни в чем я не уверен, чисто интуитивно… И еще, пожалуйста, это на всякий случай, попроси Тимо, пусть он прочитает мне две странички в части реакции с ванадием. Привет, Тимо… Думаю, выкарабкаемся как-нибудь. Читай, а я буду записывать… – Старательный человек наш Тимо. И добросовестный. Медленно читает, слоги все раздельно произносит, но и эту злополучную ванадиеву «одну десятую» тоже по слогам прочел, так, чтобы я успел записать. Очень не хотелось бы, чтобы Тимо, с его добрыми прозрачными глазами, узнал бы когда-нибудь, что вместо блокнота с карандашом я держал в руке стакан с яблочным соком из холодильника.

– Ну, всего доброго, ребята. Начинайте думать. Как только прояснится что-нибудь, немедленно созвонимся. Ну как вам не стыдно, не такой уж я и больной. Какие могут быть между нами счеты? Позвоню минут через сорок.

Можно и раньше, но не стоит, напряжение должно достигнуть предела, чтобы наиболее полно ощутить радость. А напряжение будет максимальным, за это уж я ручаюсь. Им ведь сейчас всякие ужасы мерещатся, уже сомнения всякие появляются по поводу правильности всей работы в целом. Ведь работа к концу близится. И вот вам – на одном из самых последних этапов, можно сказать, почти заключительном, какая неприятность. И впрямь с ума сойти можно. Пожалуй, я им не через сорок, а минут через двадцать позвоню, жалко ребят, они и на самом деле хорошие люди, да и работники неплохие, но с потолком, видимым потолком среднего ученого. Да ведь это и не так уж плохо – быть средним ученым, добросовестно делающим свое дело, пользу приносящим, так что не буду я их томить, а обрадую через двадцать, а точнее, уже через пятнадцать минут. Есть время допить сок и понежиться в полудреме. Заслужил. Без лишней скромности скажу, заслужил. И всех троих заставил вслух повторить ошибку. И самое ведь главное – очень тонко это сделал, незаметно, как раз с тем самым тактом, отсутствие которого так заметно в поведении большинства людей. И причем ведь я это не для собственного удовольствия делаю или ради праздного развлечения, а во имя целей не сразу заметных, но в конце концов свои плоды приносящих и в сути своей не низких, а благоразумных и даже гуманных. Вот позвоню я им, сообщу, что нашел ошибку, обрадуются все несказанно после всех треволнений, и мне будет искренне приятно оттого, что удалось товарищей обрадовать. Но ведь это одно, причем лежащее на самой поверхности обстоятельство. Я же из-за другого старался, когда троих заставил произнести «одна десятая». Ведь предотвратил же я этим унизительные для всех поиски виновного, а следовательно, неизбежное появление в здоровом коллективе жалкого и всеми презираемого козла отпущения, поставившего своей грубой ошибкой под угрозу срыва работу, от исхода которой зависит, без преувеличения, благополучие и успех дальних планов остальных. Не будет козла, а будет три человека, по справедливости ощущающих свою вину и еще раз получивших возможность убедиться, что рядом с ними работает человек незаурядный, но вместе с тем скромный и на первенство ни в коей мере не претендующий и но всему этому достойный не только всяческого уважения, а и теплого внимания и чуткости. Дело это тонкое, успехи каждый раз приносящее незначительные, но каждый раз в сознании окружающих закрепляемые и со временем оказывающие на общественное мнение действие приятное и весомое, подоено тому приятному давлению, какое оказывает на ладонь благонравного и рассудительного мальчика пестро раскрашенное глиняное яблоко, переполненное монетками, каждая в отдельности из которых, способная в свое время доставить человеку пусть острое, но, к сожалению, не оставляющее материального следа наслаждение в виде аттракциона «Вертикальная стена» или даже цирка, теперь, укомплектованная подобными себе до состояния полной копилки, ставила его впервые в жизни на качественно новую ступень – человека, не зависимого ни от кого, но по справедливости заслужившего (в отличие от всех своих товарищей) право на безграничное счастье владельца велосипеда или самоката.

Я набрал номер и почти сразу же вслед за этим услышал голос Тимо, видно, он и не отходил от телефона. Я спросил, как идут дела и нет ли каких-нибудь изменений к лучшему. Я еще

некоторое время послушал, а потом, прервав страстный погребальный речитатив, сказал ему, что, проанализировав запись-телефонограмму, кажется, установил ошибку. Я сказал им (я знал, что все трое, прильнув к трубке, слушают меня), что все дело в дозировке, и назвал правильную цифру, и голос мой перестал быть слышным под обрушившейся на меня лавиной аплодисментов. Я стоял на сцене, залитой светом прожекторов, и раскланивался, жестами и мимикой напоминая беснующейся от восторга публике, что не надо забывать и об оркестре, в той же мере, что и я заслужившем благодарность, но публика не верила моему лицемерию и продолжала выкрикивать мое имя, не обращая никакого внимания на встающих каждый раз по мановению моей руки музыкантов, среди которых были двое или трое, кажется, контрабасист, первая скрипка и саксофон-баритон, еще продолжающих думать, что этот успех принадлежит всем находящимся на сцене в равной степени. В заключение я сказал ребятам, что выйду на работу через два дня, и попросил звонить каждый день и информировать меня о ходе опыта. Я решительно остановил разговоры о том, какой я молодец, великодушно сказав, что эту пустячную ошибку мог бы сразу заметить каждый, взглянувший на записи свежим, отдохнувшим взглядом, что у меня и получилось, и, попрощавшись, положил трубку. Я знал, что сейчас они только и говорят о том, какой я хороший товарищ и человек, и, не скрою, мне было это очень приятно. Мне даже вдруг захотелось очутиться в лаборатории, но это сумасбродное желание мгновенно исчезло, вышвырнутое из сознания мыслью, что через два дня я буду иметь возможность находиться в ней ежедневно в продолжение долгих семи часов, так сказать, практически лишенным на это время права свободного выезда и выбора времяпрепровождения, наиболее точно соответствующего моему настроению в данный момент.

Все-таки очень хорошее сегодня утро. Утро человека, у которого все в порядке. Утро, когда хочется немедленно встать и включить музыку, или натереть и без того начищенный паркет, или написать поздравительную открытку своему бывшему декану, о юбилее которого было объявлено в газете, и поблагодарить в теплых выражениях за его выдающиеся заслуги по воспитанию юношества за все время его деятельности, вплоть до дня выхода на пенсию. Хочется встать, несмотря на отсутствие срочных дел и даже на то, что подушка еще сохраняет тепло и тонкий и волнующий аромат волос Прекрасной Женщины… Ну что ж, вставать так вставать. Сделаем легкую зарядку с гантелями, от которой рельефнее станут мышцы под тонкой упругой кожей, примем душ, сперва горячий, а потом ледяной, развивающий эластичность сосудов, по которым быстрее побежит высокооктановая кровь. Сделаем все то на первый взгляд минимальное и вместе с тем все зависящее от нас, чтобы всегда быть в хорошей форме, в постоянной готовности не упустить любой, самый незначительный шанс, время от времени выбрасываемый в жизненной лотерее и достающийся только человеку, не забывавшему своевременно уплатить свои тридцать копеек.

А вот эта чашка настоящего кофе, не того жалкого суррогата с извлеченным для фармацевтических нужд кофеином, который подается в лучших ресторанах и кафе, а маслянисто-коричневого цвета, густого, как расплавленный шоколад, пахнущего мачете и ассегаями, эта чашка кофе как раз и есть та капля, которая переполнит до краев мое сегодняшнее утреннее настроение и доведет его до кондиции телефонного воркования, очень трудно исполнимого жанра человеческих взаимоотношений, по существу, на первый

взгляд ненужного и бесцельного, после того как игра сделана, но необходимого человеку хорошего тона, воспитания и вкуса в той же мере, как рама из некрашеного дерева, цвета теплого золота, для Салахова в пастельных тонах или очень сухое белое для осетрины в соусе из тёртых орехов с бадьяном и барбарисом. Ибо это сфера, из которой можно извлечь для себя кое-что существенное, способствующее появлению в себе ощущения великодушия и благородства…

А она ведь это заслужила. Заслужила в полной мере, как никто другой, потому что это были прекрасные семь дней, пролетевшие на едином дыхании, без малейшего промаха с обеих сторон, без мелочных обид и следующей за ними досады, без наивных претензий и вынужденных обещаний. Дни острого и все же изысканного наслаждения общения с нею, дни страсти, охватывающей неслыханной жгучей жаждой все существо и щедро утоляемой в мучительном восторге и радости, живительной прохладной струёй переливающейся в свете, ослепляющем зрение и пьянящем разум, и не несущей в себе ни единой капли безразличия и пресыщения. И минуты кружащей голову благодарной истомы и тихой задумчивой нежности. Минуты ясные и совершенные, закрепляющие в сознании ощущение уверенности и силы и не оставляющие после себя ни малейшего, даже еле заметного налета унизительных сомнении в себе и стыда.

Это была чудесная партия двух достойных противников, и завершить ее следовало в том же стиле и на том же высоком уровне искусства, единственно и подобающем гроссмейстерам, рыцарям благородной красивой игры.

Эти дни, которым я уже присвоил мысленно почетное звание Недели Прекрасной Любви, настолько украсили Отдых и внесли в него, что особенно ценно, столь редкостные, никогда не подвергающиеся инфляции понятия, как Событие и Приключение, что я позволил себе зачислить его в заветный, тщательно оберегаемый и столь же тщательно и жестко отбираемый ряд Приятных Воспоминаний.

Два дня, остающиеся до выхода на работу и до ее отъезда в Трускавец, два дня, остающиеся до естественного финиша, в память Недели освободим, насколько удастся, от неловкости и напряжения последних минут на перроне, когда даны уже и первый, и второй, и третий звонки, и на светофоре давно уже горит зеленый свет, а поезд все не трогается, поджидая застрявший в уличной пробке почтовый контейнер или генерала, задержанного на приеме речью высокого иностранного гостя, и когда провожающие, столпившиеся перед окнами вагонов, все повторяют и повторяют выглядящие со стороны с каждым новым мгновением все пошлее, несуразнее воздушные поцелуи и прощальные махания затекшими кистями, с тоской понимая всю нелепость и безвыходность ситуации.

А все-таки быстро пролетело время, отмеренное Бюллетенем, можно было бы, конечно, выхлопотать еще одну недельку, и я уверен, мало бы кто на моем месте удержался бы от соблазна и не попытался бы прикупить к верным семнадцати на руках – еще короля. А ведь риск хорош только тогда, когда он оправдывается. А пожадничай я – пожалуйте на ВКК! После десяти дней бюллетень продлевает только врачебная контрольная комиссия. С ней тоже можно, наверное, добиться приличных результатов, но стоит ли рисковать? Да и не в риске одном дело, очень уж эти сеансы утомлять стали за последнее время. Особенно трудно дался последний, третий, визит к моему дорогому Айболиту, к которому я уже начал испытывать что-то похожее на благодарность за его озабоченность в связи с моим

пошатнувшимся здоровьем. Даже жалко его стало, когда он, – после того как я ему описал последнюю стадию болезни колена, рассказал об острых, стреляющих болях в левом бедре и нижней части живота и даже продемонстрировал, как проходит тут же начавшийся приступ, – осторожно касаясь, прощупал колено и сказал, что очень рекомендует мне лечь на неделю-другую в больницу. Я произнес фразу, вызывающую у любого врача реакцию профессиональной обиды, – сказал, что ни в коем случае не смогу этого сделать по причине неотложных важных дел по службе.

– Служба службой, – хмуро сказал он, – а здоровье здоровьем. Нельзя откладывать это дело. Болезнь прогрессирует, запустишь, потом смотришь, а она уже давно в хроническую переросла. Воля ваша, но я бы на вашем месте полежал бы в стационаре некоторое время. До полного излечения. Ноги вам еще долго ведь будут нужны.

Я обещал ему, что при малейшем ухудшении немедленно последую его совету и лягу в больницу, но это его не успокоило, он еще раз неодобрительно покачал головой, осмотрел мое колено и отпустил только после того, как выписал добрый десяток рецептов и направлений на всевозможные процедуры и взял с меня слово, что я буду, насколько это возможно, беречь колено от резких движений и, упаси бог, от толчков и ударов.

Милый и добрый доктор из районной поликлиники! Чуткий и добросовестный, в быту и на службе придерживающийся наигуманнейшего принципа: «Человек человеку – дельфин!» За доброту и за искреннее желание помочь – спасибо! И в знак благодарности я сделаю все от меня зависящее, чтобы никогда!, никогда в жизни не узнал ты правды об этих трех моих визитах к тебе. И будет это справедливым и даже щедрым гонораром за нее – и за твой диагноз, и за курс лечения, и за все прощальные советы.

Опять телефон зазвонил. С работы, наверное, а может, быть, она. Нет, вряд ли она… Посмотрим.

– Я слушаю… – вот уж чего я не ожидал совершенно услышать – так это голос отца. Совершенно неожиданный звонок, так сказать, не предусмотренный расписанием и протоколом.

– …на работе сказали, что ты болен, Что-нибудь серьезное? Папочку волнует здоровье единственного сына? Папочка тратит свое драгоценное время на расспросы о его болезни? Это всегда трогательно и производит на окружающих в высшей степени приятное впечатление. «Он по своей натуре очень сдержан и суров, но он всегда любил сына», – шептали друг другу в дальнем углу комнаты дамы, глядя на сидящего у кровати человека, на его мужественные черты, по которым скатилась слеза, на его скорбные глаза, устремленные на бледное и уже почти совсем безжизненное чело единственного отпрыска.

– Да нет. Пустяки. Все прошло.

– А сейчас как ты себя чувствуешь?

– Нормально.

Что-то у папочки голос звучит не как обычно. Какие-то нотки незнакомые в его уверенном баритоне проскакивают. Или мне кажется?

– А что ты вечером собираешься делать?

Вот так номер! Папочка интересуется, как его сын проводит Досуг. «Все бросились к телетайпам и телефонам! Команда Южной Кореи забивает шестой гол в ворота британской сборной королева покидает ложу!»

– У меня встреча.

– Ты не можешь отложить ее? Или хотя бы перенести часа на три?

Так не пойдет! Желаем посмотреть! В непрозрачной таре прием от граждан домашних животных прекращен.

– Постараюсь, но ручаться не могу… Это не только от меня зависит.

Следующий ход ваш, папочка. Жду.

– Сегодня открытие нового здания морского порта. Мне было бы приятно твое присутствие.

– Поздравляю тебя. Я читал об этом. Но не знал, что назначено на сегодня. Я, конечно, постараюсь прийти.

– Приходи, В шесть часов.

– Тогда мне и откладывать ничего не придется. Я успею, ведь это займет не много времени?

– Будет еще обед. Официальный. До встречи.

– Всего доброго.

Придется пойти. Ничего не поделаешь. Комкается последний вечер Недели Прекрасной Любви, вот ведь что обидно. Ну да ладно. Еще не все потеряно. Он же сказал, в конце концов, что будет обед, а не ужин. Может быть, успеем.

Позвоним к ней и скажем. Извинимся и объясним. Выразим сожаление, переходящее в отчаяние. Гудки. Внимание! Старт! Обменялись приветствиями. Пора. Сперва выдадим без всяких эмоций краткий текст с сутью предстоящих событий…

Невероятно! Ни упреков, ни подозрений! Ни слова недоверия, ни интонации обиды! Достоинство и приветливость! Понимание и поддержка!

– Я буду ждать! – Отбой. .

Примите уверения в моем искреннем восхищении! За краткость и музыку танки и за лаконизм бессмертного афоризма!.. Она будет ждать, и мы ее ожиданий не обманем!

А теперь отгладим борта пиджака. Нет, конечно же не этого длиннополого и двубортного, с разрезом до шестого с половиной позвонка, с широкими полосами цвета спящей на теплой отмели анаконды, час назад проглотившей молодую мартышку! Или вы забыли, что вас пригласили на официальный обед в честь нового произведения вашего отца, а не на концерт приезжей бит-группы с последующим ужином с девочками из иняза? Повесьте его на место.

Вы погладите и наденете другой костюм. Вот этот, кстати, являющийся представителем от тридцати трех процентов состава вашего гардероба верхней одежды, исключая,

естественно, пальто и плащ, костюм модного, но скромного покроя, не раздражающего ничей взыскательный взгляд, универсального цвета маренго, приблизительно выполняющего в обществе функцию фирменной обертки парфюмерного магазина, одинаково безразлично несущей в себе хрустальные флаконы с изысканными духами и тюбиками с мазью от потливости ног или баллоны с пульверизаторами душистого лака для волос и дезодор от дурного запаха изо рта – словом, все, что в нее завернут.

Точность – вежливость сыновей! Незамеченным не осталось. Папочка-то в этих вопросах чрезвычайно щепетилен. А когда меня увидел – явно обрадовался. Наверное, все-таки сомневался, приду ли я… На часы все же украдкой глянул. Смотри на здоровье, я на десять минут раньше указанного срока пришел. Надо подойти.

– Здравствуй. Поздравляю тебя.

– Спасибо. С поздравлением только повремени. Вдруг у тебя после осмотра пропадет это желание.

Шутит папочка. Но волнуется. И чего ему волноваться? Я как-то подумал, что если собрать в одно место все здания, построенные по проектам отца, то получится нормальный современный город с жилыми и административными зданиями для разных целей, с театром, крытым рынком, аэропортом, почтамтом и Дворцом спорта. Только бани не будет в этом городе, да еще тюрьмы.

Ого! Приехал Великий Человек и «другие официальные лица». Минута в минуту. Я его до этого только на экране видел.

Председатель горсовета после короткой речи ленточку разрезал на главных дверях. Оркестр сыграл туш – открытие состоялось.

Здание что надо. Роскошное здание. Все-таки ты молодец, папочка. Все предусмотрено. И размах чувствуется. Мрамор, гранит, стеклянные стены. Нет, без всякой скидки на родственные чувства, а может быть, несмотря на них, нравится мне здесь все – и главный зал, и ресторан, и причалы – все как надо. Фундаментально и элегантно. А вот штуковина, по которой мы опускаемся сейчас, называется пандус, это я точно знаю, на всю жизнь запомнил. И еще я знаю, что такое фриз и капитель. Да. И дорический ордер я с первого взгляда могу узнать. Но его на этом бесколонном здании я что-то не вижу ."Какие-то здесь другие линии и формы, у которых наверняка свои названия существуют, но я их не знаю и в этом не виноват. Я ведь на профессиональные архитектурные темы в последний раз разговаривал, когда шестилетним малышом был. И все запомнил навсегда, так сказать, все, что от меня зависело, сделал. А потом больше не пришлось на эту тему говорить. Так получилось.

А банкет дали под стать зданию, в котором он проходит. Перемена за переменой. Официанты почтительные, доброжелательные. И ощущения нет, что какой-то невидимый глаз бутылки коньяка и шампанского подсчитывает. Все тебе, папочка, Удается. И красив ты по-прежнему, даже то, что волосы и усы поседели, на пользу твоей внешности. И осанка у тебя гордая, и костюм с лауреатским значком на тебе, как латы, сидит. Всегда я тебя таким знал. Я же, папочка, отчасти благодаря тебе, начиная со средней школы, к истории СССР относился с любовью и уважением, предков наших, мечом защищавших родную землю от

арабских и персидских завоевателей, всегда на тебя похожими представлял. А почему это тишина такая наступила? Все ясно. Великий Человек с места поднялся – тост говорить собирается.

Строителей поздравляет, всех, кто над зданием потрудился, а теперь о тебе говорит, произносит слова справедливо прекрасные и волнующие, от которых еще стремительнее помчалась твоя колесница, и хор многоголосый зазвучал громче, и еще дружнее ударили по струнам арф и клавишам клавикордов юные девы туниках и хитонах.

Ты ведь, папочка, у нас триумфатор. Я тобою, папочка, всегда гордиться буду, но с колесницей твоей рядом, слова приветственные выкрикивая, не побегу и разговаривать с тобой тоном человека, без командировочного удостоверения с администратором гостиницы «Россия» беседующего, не буду. Этого ты от меня не жди. И не приучишь ты меня. Вот захотел сегодня прийти на твое торжество – пришел, а не захотел бы… Ты же меня знаешь. Все ты знаешь. И про то, что те деньги, сто рублей, что ты мне каждый месяц присылаешь, я в Кировабад пересылаю маме, что себе из них ни одной копейки не оставляю, и про ни разу не использованные ключи от твоей машины, которые ты силком вручил мне в день рождения пять лет назад… За то, что знаешь все, и молчишь, спасибо тебе. А сыновний долг свой на сегодня я выполнил. И уйти могу спокойно и незаметно, благо, место я выбрал для этой цели удобное.

Вот и музыка. Сейчас все перейдут в соседний зал – с цветным паркетом и хрустальными люстрами – танцевать и наслаждаться искусством, а мы с приятным чувством выполненного долга из этого роскошного дворца выскочим и побежим по направлению к одному уютному местечку, где за нами остается на сегодняшний вечер еще один неоплаченный должок.

Внимание! Приступаем к выполнению операции под условным кодовым названием «Золушка». Удаляемся, не обращая на себя внимания окружающих. Непринужденно и легко, пятясь, приседая и обмахиваясь веером.

Стоп! Эвакуация временно приостанавливается по объективным причинам. Что это за знаки призывные нам папочка делает? Так и есть – подзывает к себе. Кажется, с кем-то познакомить меня собирается.

Не может быть! Где? Где вы сейчас находитесь, вместо того чтобы быть здесь и видеть все своими глазами? Где вы – директор школы и классный руководитель, восторженные и озабоченные, то делающие на заседаниях роно и гороно заявления о моей одаренности, граничащей с гениальностью, то выражающие серьезные сомнения в реальности осуществления индивидуального прекрасного будущего в силу сумбурной сложности моего характера; где ректор, декан и его два заместителя, унаследовавшие по каким-то таинственным, неизученным законам телепатии своих коллег, трудящихся на ниве среднего образования, ту же точку зрения на своего подопечного; где раздираемый сомнениями директор нашего НИИ, не знающий, не пора ли начать ему готовить речь для выступления на Большом ученом совете, в полной мере способную продемонстрировать его академическую эрудицию и с поздравлениями по поводу присуждения мне ученой степени, или краткое, полное сдержанной горечи сообщение на судебном процессе о том, что ни он, ни коллектив института не имеют отношения к взрыву, последовавшему в

результате моих безответственных действий во вверенной мне лаборатории, вызвавшему порчу имущества и увечья сотрудников? Где вы, управдомы и все бывшие и теперешние соседи?!

– Я тебе хочу своего сына представить! Ай да папочка! Это он с Великим Человеком на «ты» разговаривает. Нет, конечно, мой папочка удивительный человек.

– По-моему, мы знакомы. Я вас помню совсем маленьким, когда приходил к вам в гости, вам было тогда лет пять, – он внимательно оглядел меня, словно сверяя свои нынешние впечатления с теми, что остались в его памяти с того времени, , когда на дверях квартиры, где состоялась наша первая встреча, была прикреплена таблица с инициалами отца.

– Он с тех пор здорово изменился, – папочка улыбнулся сдержанной и вместе с тем исполненной достоинства улыбкой отца, представляющего своего взрослого сына, соратника и единомышленника, плечом к плечу с которым ему еще долго придется странствовать по дорогам Жизни.

Зря ты так улыбнулся, папочка. Не идет тебе эта улыбка. Остановись. Прощу тебя.

– Самостоятельный человек. Ведет интересную работу в области полимерной химии, – вот уж не думал, что папочка название области знает. – Впрочем, я думаю, он сам лучше расскажет, что это за работа.

«Скажи дядям и тетям стишок. Ты же ещё днем говорил его. Ну, скажи, не стесняйся…» Не будет стишков, папочка. И не потому ведь, что ребенок стесняется. Ребенок у тебя не по возрасту смышленый. Он многое уже может. И стишок дядям и тетям наизусть, даже на двух иностранных языках, прочитать, и восемнадцать на четыре в уме помножить может, это еще не говоря о таблице умножения, которую для своего дошкольного возраста знает удивительно хорошо. Он такое им может сказать своим трогательным голоском, что дяди и тети в один голос закричат, что надо этого изумительного вундеркинда, не медля ни одной минуты, отправить в школу для особо одаренных детей.. Настроение у ребенка не подходящее для данной ситуации. "от ведь в чем дело. А дядям и тетям он как-нибудь в следующий раз понравится. Не за стишки. И без помощи своего папочки. И на это у ребенка свои основания веские есть.

– Рассказывать нечего, – я постарался улыбнуться как можно естественней, – для неспециалиста это такая скука разговоры об эксперименте. Работа химика становится интересной только тогда, когда заканчивается. И то, если получается в результате что-нибудь путное.

Великий Человек смотрит на меня, не переставая благожелательно улыбаться. Хотя что-то новое в выражении глаз появилось. Теперь это был взгляд водителя, выехавшего круто из-за поворота и заметившего на светофоре желтый свет, но не знающего еще – предвещает он красный или зеленый, и опытный шофер почти неощутимо надавил на тормоз.

– А как вам понравился новый порт?

– Очень понравился. По-моему, давно его надо было построить.

– Очень рад, что наши мнения абсолютно сошлись, – можно было подумать, что он этим совпадением чрезвычайно польщен. – А теперь пойдем в соседний зал, посмотрим

концерт. – Он взял нас, меня и папочку, под руки и повел к входу. – Обещали, что будет интересно.

Мы сидели в первом ряду импровизированного партера и слушали концерт, даваемый мастерами искусств в честь создателей нового порта. Назывались имена лучших рабочих, бригадиров и инженеров, и известные артисты пели и играли в их честь, для услады их глаз и слуха. А потом и до тебя дошла очередь, папочка, и весь зал приветствовал тебя аплодисментами… Ты встал, и раскланялся, и снова сел рядом, между мною и Великим Человеком. И я аплодировал тебе, папочка, потому что я ведь против тебя ничего плохого в душе не имею, уважаю тебя и даже восхищаюсь, но уж прости ты меня за то, что люблю во много раз меньше, чем полагалось бы хорошему сыну. Я тебе, папочка, не судья, и судить тебя не за что. Сказал же ты как-то раз, хоть в сердцах, но справедливо, в одну из наших считанных встреч: «Я не с тобой развелся, а с твоей матерью, и никто не дал тебе права вмешиваться в наши отношения». Я и не вмешиваюсь. Но вспоминаю, и тут уже ничего с собой сделать не могу. Каждый раз, как с тобой встречаюсь, вспоминаю, что в нашем доме, после того как мама во второй раз вышла замуж, появилось Животное и село на то место за столом, где всегда сидел ты. Животное, сопящее, хрюкающее, и чавкающее, и высказывающее свое не подлежащее обсуждению мнение в течение долгих лет. А потом Животное подняло руку на человека. Я как раз в этот момент вошел в комнату и увидел лицо мамы. Я, папочка, конечно, преувеличиваю, утверждая, что все помню. Конечно, не все – помню только, как закричала мама, оттаскивая меня от него. И еще я никак не могу вспомнить – выступал ли ты в тот день в телевизионной передаче «В мире прекрасного», в которой ты выступал часто, говорил убедительно о вещах возвышенных и полностью названию передачи соответствующих. Потом они уехали – не пожелавшая с ним расстаться мама и отчим – переехали в Кировабад, где ему предложили новое, более удобное стойло и больше средств на ежемесячный прокорм, а я перевелся в московский институт… Ты писал мне…

Что это? Почему все встали? А… Окончился концерт. Все расходятся. Великий Человек сказал мне на прощание, что ждет меня в гости вместе с отцом. А потом мы остались одни. Мы стояли перед огромным, ярко подсвеченным зданием на безлюдной площади.

– Вечером оно еще красивей, – сказал я. – Поздравляю.

Он улыбнулся:

– Спасибо. Честно говоря, мне оно и самому нравится. Ну пойдем? Машину я отпустил, думал, приятно будет прогуляться пешком Тебе не холодно, с моря прохладой потянуло?

– Нет.

– Пойдем ко мне, посидим, чаю попьем. А хочешь вина? Мне прислали несколько бутылок настоящего сагианского. Еще же не очень поздно.

Не пойду я к тебе, папочка, пить чай или вино по той уважительной причине, что не хочется мне.

«Собрался братец Кролик в гости, проведать тетушку Мидоус и ее дочек».

– К сожалению, я должен быть дома. Ко мне будут звонить. Он пригладил хорошо знакомым мне жестом волосы на голове, даже в полумраке площади было видно, как они поседели. «Оседлал братец Кролик свою лошадь и поскакал…»

– Я рассчитывал, что нам удается посидеть сегодня вместе, жаль, что не получилось. – Он поежился, видно, ветер с моря и впрямь был прохладным.

«И невдомек было братцу Кролику, что у тетушки Мидоус с дочерьми в это время сидел и курил свою трубку братец Лис…»

– Ну что ж. Спасибо, что пришел на открытие. Всего доброго. Звони. – Он повернулся и пошел.

С кухни доносится запах ванили, мама что-то готовит нам вкусное на ужин. Хорошо сидеть на отцовском колене, чувствовать на плече его руку и слушать, как он читает своим неторопливым добрым голосом сказки дядюшки Римуса. И комната кажется такой уютной в теплом свете зеленого абажура.

Откуда ты, чудное душистое видение, вызывающее сладкую щемящую грусть по давно безвозвратно минувшим счастливым дням? Из каких неведомых складов, кладовых памяти появилось ты и когда в следующий раз ждать твоего прихода?

Он шел неторопливо, не оборачиваясь, думая о чем-то своем.

– Папа! – я услышал свой голос и подумал, что крикнул слишком громко.

Давно я его так не называл, даже и вспомнить нельзя, когда в последний раз я сказал ему «папа».

Он остановился и медленно повернулся ко мне.

– Хочешь, я к тебе завтра зайду? Вечером.

Кажется, он хотел что-то сказать, потом раздумал и молча кивнул.

Я вдруг обратил внимание, что набираю цифры ее телефона необычайно медленно и плавно, не сразу отпуская диск в обратный, невыносимый в этой тишине своим скрипом путь, словно от меня зависело, чтобы звонки на другом конце провода прозвучали бы без пугающей громкости, как можно тише и мягче, деликатным стуком ночного гостя в дверь друга, который тщетно прождал его весь вечер с семьей к ужину и перестал ждать к полуночи, а он, задержавшись на ненужной и утомительной вечеринке в кругу случайно встретившихся подвыпивших однокашников, все же пришел, несмотря на поздний час, при этом нещадно ругая себя только для того, чтобы попрощаться перед бесконечно долгой разлукой.

Она взяла трубку сразу, и голос ее не был сонным.

– Пожалуйста, извини, – сказал я. – Видишь ли, я очутился в ситуации…

– Вижу, – сказала она и засмеялась. – Я уже думала, что ты не позвонишь.

Я сказал, что очень обидно, что пропал последний вечер перед отъездом и что мне удастся ее теперь увидеть только на вокзале. Она засмеялась .

– Почему ты смеешься?

– Ужасно смешно, что ты говоришь шепотом, как будто боишься кого-нибудь разбудить. Мне тоже очень жаль. Ну да бог с ним, что прошло, то прошло. А ты меня все-таки хочешь видеть?

Это был вопрос, требующий только одного ответа, и я немедленно сказал:

– Очень.

– Подними правую руку и торжественно скажи: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу тебя видеть. Очень, очень, очень!» Скажи. Это меня утешит.

– …Очень, очень, очень!

– Ну вот, – огорченно сказала она, – так я и знала, что руку ты не поднимешь… Не поднял ведь?

– Ну не поднял, – испытывая досаду из-за того, что не могу найтись и в шутливом тоне соврать, сказал я. Как будто она и впрямь могла знать, поднял я руку или нет!

– Вот видишь, – сказала она. – Значит, не очень хочешь.

– Если бы я знал, что от этого что-то зависит, то я поднял бы сразу обе руки и простоял бы в этом положении до той самой минуты, пока не увижу тебя, – очень серьезно и медленно сказал я, с удовольствием ощущая в своем голосе такое количество высококачественной убежденности и правды, что его с избытком хватило бы на то, чтобы немедленно отправить на вечер устного рассказа с фрагментами «Илиады» и «Одиссеи» в исполнении Сурена Кочаряна трех благополучных пайщиков, в тот самый момент, когда уже полностью собраны взносы и успешно завершены хлопоты с сервировкой, состоящей из двух граненых стаканов и чистой баночки из-под майонеза, – и между жаждущими и мигом блаженства остается лишь один легко преодолимый этап в виде свободных от очереди кассы и прилавка

– Не надо, – сказала она. – Конечно, если тебе очень хочется, подними их, но не держи поднятыми очень уж долго. Ладно?

– Почему?

– Потому что я не хочу, чтобы от этого они онемели и стали неловкими, потому что я не хочу, чтобы руки у тебя были холодными, когда я приду. Мне очень нужно, чтобы сегодня ночью они были очень теплыми и ласковыми…

Это было очень неожиданно, и я чуть было не спросил у нее, как она сумеет уйти незамеченной, а также – не отразится ли на состоянии здоровья маман-с и на впечатлениях приезжей тетки внезапный и немотивированный уход среди ночи благонравной и примерной дочери и племянницы, но вовремя спохватился.

– Спасибо, – проникновенно сказал. – Я даже надеяться не мог…

Она сразу же перебила меня:

– Ты хочешь, чтобы я пришла? – Голос ее вдруг стал нервным и напряженным. – Скажи.

– Как ты можешь сомневаться? Можешь быть уверена, что ничего в жизни я так не хотел!

– Я не сомневаюсь.

– Я очень хочу тебя видеть.

– Если ты очень хочешь, если я очень хочу этого, то ничто на свете нам не помешает, – теперь ее голос звучал так же легко, как в начале разговора. – Я иду.

– Я сейчас же выйду и пойду к тебе навстречу, – сказал я.

– Не надо. Мы можем разминуться, а это – время, которого у нас уже очень мало. Жди меня дома.

Те двадцать пять минут, что оставались до Последнего Прихода, я использовал очень четко и предельно плодотворно, слегка прибрав, комнату и доведя свою внешность при помощи в любом другом случае необязательного и преждевременного бритья и свежей рубашки до стадии, вполне достойной увековечения на фотографии, оставляемой на прощание родственникам, близким друзьям и любимой девушке – метеорологом, отбывающим на долгую и опасную вахту с Антарктиду.

Я тихо прикрыл дверь и, осторожно ступая, так, чтобы спокойного, но чуткого сна соседей не коснулись приятные и вместе с тем изнуряющие воображение и посему в это время суток особенно вредные импульсы, исходящие от увлекательнейшего, объединяющего в себе множество неразгаданных тайн быта раздела «Удивительное рядом», вышел на улицу.

Было безлюдно и тихо, впрочем, наверное, не более безлюдно и тихо, чем бывает всегда в три часа ночи в середине обычной рабочей недели. Некоторое время постоял неподвижно у ворот, пока не прибежала собака, у которой этой ночью были какие-то неотложные дела именно в подъезде моего дома. Я догадался об этом не сразу, хотя она сделала по справедливости все возможное для того, чтобы довести это обстоятельство до моего сведения. Возможно, если бы я был повнимательнее или лучше разбирался в собачьей этике, я бы сразу понял, что означают круги, выполняемые неторопливой рысцой посредине улицы, и взгляды, изредка украдкой бросаемые на меня. Но я не догадывался и прозрел только тогда, когда собачьему терпению пришел конец. Она резко остановилась и села напротив меня на достаточно близком для общения и в то же время вполне безопасном расстоянии и, облизнувшись, уставилась на меня взглядом, в котором в очень точной пропорции сочетались удивление, легкое раздражение и неуловимое высокомерие завсегдатая небольшого закрытого читального зала для докторов наук и почетных академиков, обнаружившего на своем насиженном, уютном месте у окна листающего детектив посетителя, вид к манеры которого убедительно свидетельствуют, что никакого пропуска в этот зал у него нет и в ближайшие пятьдесят лет ни будет. Я устыдился и, пробормотав извинения и захлопнув детектив, вышел в общий зал, ощущая на своей спине пристальный, но уже подобревший от моей покорности взгляд, а собака проворно юркнула в подъезд и, судя по явственно донесшемуся оттуда мелодичному журчанию, незамедлительно и добросовестно приступила на своем участке к еженощным работам по доведению стойкого, неистребимого аромата, именуемого в просторечии кошачьим, до

уровня букета, незабываемая острота и крепость которого дадут ему бесспорное право претендовать в шкале окрестных подворотен, как минимум, на высокое звание тигриного.

Я увидел ее издали, сразу, как только она вышла из-за угла на нашу улицу. Но почему-то не пошел ей навстречу, как только что собирался, а продолжал стоять все то время, что она легко и стремительно шла по бескрайней плоскости улицы в холодном призрачном свете газосветных ламп. Она подошла ко мне и молча положила голову мне на грудь.

Может быть, из-за света ночных фонарей, придавших происходящему налет нереальности, но мне вдруг показалось, что это все как две капли воды похоже не очень красивую сцену из старой картины, которую я видел не так давно в кинотеатре повторного фильма, и я мельком подумал, что совсем необязательно чтобы темные окна окружающих зданий видели эту же сцену, да она ни была прекрасна, при моем участии. И еще я никак не мог вспомнить точного названия фильма, несмотря на то, что оно вертелось у меня на кончике языка, не мог – и все. Не то «Знак Зорро», не то «Кардинальская мантия»… А потом незаметно для себя я перестал ломать над этим голову скорее всего потому, что ведь до смехотворного ясно, как это неважно – вспоминать точное название какого-то старого сентиментального и наивного фильма, из тех, что время от времени крутят для любителей…

Ока не сказала ни одного слова, не сделала ни единого движения, она просто стояла посреди улицы, прижавшись всем телом ко мне, и я ощутил тепло ее, проникшее ко мне сквозь ткань платья и рубахи, запах ее волос и ласку ладоней, сжимавших мои плечи.

Мы проговорили всю нашу последнюю ночь, вернее весь остаток ее, до самого рассвета, это был длинный монолог, произносимый ею горячо и сбивчиво, и это так было непохоже на нее, знающую высокую цену сарказма и иронии, пристойно и разумно раскрывающих занавес ровно настолько, чтобы было позволено зрителю увидеть и услышать лишь то, что приготовил для них режиссер, и ничего больше…

Я слушал с изумлением и жалостью к ней, задавая себе вопрос, не пропустил ли я тот первый момент, когда мне надо было остановиться и задуматься, увидев во тьме искры и почувствовав запах горящего дерева и раскаленного металла, и не упустил ли я по беспечности или в силу эгоизма даже второй, уже всерьез грозящий увечьем, но все же еще не гибельный для хрупкого здания миг, когда надо было немедля сорвать огнетушитель и попытаться отогнать от крыльца и стен протянувшиеся к ним жадные оранжевые языки…

Я перестал задавать себе эти вопросы, потому что услышал ответ в ее словах, увидел его в ее глазах. Я видел пламя, с ревом вырывающееся из окон, услышал жуткий треск обрушившихся стропил и перекрытий, почувствовал на лице своем нестерпимый жар, погасить который было уже не под силу ни одной пожарной команде…

И еще она сказала, что в ее памяти останется каждая минута наших встреч, и я знал, что это правда, и что она благодарна мне за все, и что это чувство останется в ней навсегда…

Она заснула, когда было уже светло, и лучи солнца окрасили кожу ее прекрасного, совершенного по форме тела в нежный розовый цвет, покрыли прозрачным, золотистого оттенка лаком бесценную картину, не менее древнюю, чем история человечества, и это было последнее, что запечатлелось в моем сознании перед тем, как я закрыл глаза.

Это был сон без видений, душный кошмар, объявший все существо мое паническим страхом, навалившийся на меня невыносимой болью, от которой сразу же свело в судороге кисти руки челюсти. Боль разбегалась по радиальным кругам из моего левого колена ослепительными пульсирующими вспышками, сжигающими в золу нервы и мышцы, сдирая с позвоночника и костей окровавленные лохмотья. Это продолжалось вечность и продолжалось бы еще столько же, но я неожиданно очнулся и увидел над собой ее встревоженное лицо:

– Что с тобой? Что с тобой, мой мальчик? Тебе приснилось что-нибудь страшное? Ты ужасно крикнул во сне!

Я кивнул, еще в полной мере не придя в себя, но уже ощущая прилив животной первозданной радости здорового существа, благополучно добравшегося до своего жилища и как никогда до этого ощутившего всю прелесть полумрака родной пещеры и надежную толщину ее стен. И все же в самой глубине сознания страх остался, мне казалось, что исчезнувшая с дурным сном боль притаилась и ждет своего часа, пульсируя от нетерпения и жадности. Но вскоре прошло и это.

Она схватила мою голову и, прижав к груди, говорила какие-то смешные слова, очень похожие на те, что говорят своим детям матери, когда хотят их успокоить и приласкать.

Пока она была в ванной, я приготовил завтрак. Похоже было на то, что самообладание вернулось к ней полностью – мы сидели за столом и говорили на самые разные темы – начиная от ожидаемых мод наступающего зимнего сезона и сегодняшней погоды и кончая предположениями об истинных причинах визита Никсона в Китай. Это был легкий, непринужденный завтрак двух людей, чрезвычайно приятных друг другу, которым предстоит провести совместную уйму свободного времени в местности с ограниченным набором развлечений – пляжем, ресторанчиком с меню из восточных блюд и таким же трио, изредка, по заказу интеллигентных посетителей, разнообразившим дикую танцевальную программу Второй рапсодией Листа, и летним кинотеатром со своей небольшой, но постоянной фильмотекой.

Она похвалила кофе, допивая вторую чашку, к еде она не притронулась и сказала, что ей пора идти. Я попросил ее непременно написать мне из Трускавца, дав понять, что мне будет очень приятно получить от нее весточку. Она улыбнулась, это была довольно-таки грустная улыбка, и сказала, что может рассказать содержание этого письма прямо сейчас, так как никакие неожиданности в Трускавце ее не ждут, тетя, на которую она очень рассчитывала, ехать с ними отказалась (она не сказала о причинах отказа, и я не стал спрашивать, понимая, что у переутомленной жизненной дорогой тетки, пробывшей некоторое время наедине со своей дорогой кузиной, видимо, появилась острая жажда общения с другими, может быть, менее близкими, но более мобильными и жизнерадостными родственниками), сиделка, которая приходила к ним днем, на месяц уехать не может (я подумал, что скорее всего дело в ограниченных денежных возможностях), и, таким образом, в Трускавце ей предстоит довольно-таки однообразная жизнь, протекающая по уже давно известному распорядку. Я сказал, что для меня важно не содержание ее письма, а сам приятный факт его получения. И по-моему, эта фраза приличествовала моменту и была произнесена достаточно заинтересованным тоном, с оттенком сочувствия и в то же время без всякого намека на задевающую человека с

самолюбием жалость. Я представил, как она катит кресло с парализованной старухой по аллее парка, по улицам, следуя по разработанному на месяц постоянному маршруту, с остановками у процедурных кабин, долгие унылые вечера, и мне стало ее искренне жаль.

Она безразлично кивнула:

– Напишу, – а потом, улыбнувшись мне, сказала: – Ничего не поделаешь, вслед за праздниками всегда следуют будни. Пошли. Мне ведь еще надо зайти в городскую кассу, там оставили мне билеты, кое-что купить на дорогу и уложить вещи.

Мы, не отпуская такси, зашли в городскую кассу и взяли билеты, и я запомнил номера вагона и их двухместного купе, а потом отвез ее домой.

– Мы попрощаемся здесь, – сказала она, когда мы вышли из машины и остановились у ее подъезда.

Мы поцеловались. Это был торопливый поцелуй на глазах у водителя и прохожих.

– Я тебя всегда буду помнить – сказала она.

– Я тоже буду тебя помнить. Я не прощаюсь сейчас с тобой. До встречи вечером на вокзале,

– Не надо, – сказала она. – Не приходи меня провожать. Я не хочу этого.

Это меня удивило, но потом мне пришла в голову мысль, что ей будет неприятно, если я увижу, как будут поднимать и вталкивать в дверь вагона кресло с ее матерью. Я не стал настаивать.

– Может быть, нужна моя помощь в чем-нибудь?

– Нет. Я бы сказала. Поцелуй меня и уходи.

– Я буду с нетерпением ждать твоего приезда, – сказал я. – Позвони, как только приедешь.

– Хорошо, – что-то в выражении ее лица показалось мне странным, и это не давало мне покоя. Странным и непонятным. Я думал над этим в машине всю дорогу до института, но так ничего определенного и не решил, потому, что никак не мог согласиться с собой в невозможном, в том, что при моих последних словах она посмотрела на меня с выражением на лице и в глазах явственного любопытства, и, что было бы невыносимым совсем, если бы все обстояло так, как мне показалось, с оттенком насмешливого недоверия и горечи.

Первой, кого я встретил в коридоре, была Седа, секретарша Директора. Длинноногое, милое и привлекательное создание – она поступила на эту работу приблизительно в одно время со мной. Внутриинститутская статистика утверждала, что среди вновь поступивших молодых сотрудников не было ни одного который не просидел бы в приемной шефа без надобности какое-то более или менее длительное время, безуспешно пытаясь наладить с ней более тесные контакты. Каждый год она брала месяц отпуска для того, чтобы сдать вступительные экзамены в институт, и каждый год возвращалась на работу раньше срока из-за проваленного экзамена. А потом, полтора или два года назад, она взяла отпуск на шесть месяцев, декретный, и это уже после того, как вышла замуж за особенно настойчивого молодого сотрудника.

– Ой! – сказала она. – Посмотрите, пожалуйста, кто пришел! Ужасно рада я!

– Имей в виду, – поздоровавшись и разузнав все последние новости, сказал я, – срок моего бюллетеня кончается только завтра, а я уже сегодня хоть и в конце дня, но все-таки пришел. Доведи это, соответствующим образом прокомментировав, до сведения шефа, это укрепит его веру в лучшие качества человечества.

– И зря пришел, – сказала Седа. – Сразу видно, что ты еще не выздоровел. А с другой стороны, тебе идет такая бледность и томность.

– Закон жизни, – философски сказал я. – В одном проигрываешь, в другом выигрываешь.

Она шла рядом со мной по направлению к нашей лаборатории и без остановки говорила о событиях последней декады, а я довольно-таки внимательно слушал, стараясь в этой шумной бессистемной лавине сведений не пропустить что-нибудь, представляющее интерес и для делового человека. И вдруг я увидел седые волосы: их было не очень много, несколько седых волосков. По правде говоря, они были и не очень заметны в ее пышных светлых локонах.

– Сколько времени мы уже работаем вместе?

– В этом году лет семь будет, – подумав, сказала она. – А почему ты спросил?

– Просто так. Как дела дома?

– Хорошо, – сказала она. – Все в порядке.

– Дачу свою оборудовали?

– Да. Надоело уже, каждую субботу и воскресенье только там и проводим.

– Как-нибудь приеду в гости.

– Не верю я тебе. Каждую весну обещаешь.

– Приеду, приеду.

– А зря ты на работу раньше времени пришел. Я на твоем месте пошла бы домой и полежала. Очень у тебя вид болезненный.

– Все понятно, – сказал я. – Ты, кажется, в медицинский поступала?

Свинюшка ты, – беззлобно сказала она. – А я его еще жалею. Вот твоя противная лаборатория, куда я отныне ногой не ступлю.

– Завтра же придешь, – пообещал я. – После того как весь ее коллектив явится к тебе и объяснит тот факт, установленный в результате многолетних исследований, что ты самая красивая среди всех женщин страны, не имеющих высшего образования. Так сказать – «мисс необразованная женщина», прости, точнее – «мисс – среднее образование». Теперь ты понимаешь, как бы ты погорела, если бы окончила институт и стала бы рядовым врачом? Потеряла бы сразу все!

– Очень интересный факт, – поразмыслив, сказала она и улыбнулась. – Приходите все вместе и еще раз подробно объясните мне это. Может быть, я вас всех за это чаем угощу.

Все было в порядке. Показания приборов и стабильность прохождения реакции точно соответствовали графику, не было ни одной неприятной неожиданности.

Медленно, но неуклонно наливались соком зрелости прекрасные плоды – Результат, Успех и Признание, первый сбор которых, по моим расчетам, должен был состояться месяцев через семь-восемь. И ребята были все на месте, и все были искренне рады моему приходу, что доставило мне такое же удовольствие, пожалуй, не меньшее, как чтение последних страниц лабораторного журнала.

И все-таки в атмосфере этой комнаты ощущалось наличие чего-то непривычного. Ярко светило солнце, но ласточки почему-то летали низко над самой травой, а издали доносились еле слышные, но отчетливые раскаты. Все трое сидели за лабораторным столом и дружно поддерживали беседу, стенограмма которой представила бы интерес для самого узкорафинированного научного журнала, настолько она была лишена слов и понятий, не имеющих самого непосредственного отношения к нашей работе. Я помолчал, давая им возможность разразиться по своей инициативе. Инициативы проявлено не было.

– Ладно, – вздохнув, сказал я. – Выкладывайте, в чем Дело.

Все трое переглянулись, но не проронили ни слова. Я с досадой подумал, что не мешало бы позвонить и сообщить завхозу, что весна наступила, как всегда, в установленные сроки, и по этой причине можно было бы перестать так яростно отапливать здание института. Было очень жарко, я чувствовал, как у меня вспотел лоб.

– Тимо, сделай одолжение, открой форточку. Как вы выдерживаете эту жару? И ради бога, объясните мне, что здесь происходит? Алик, говори ты, и поскорее, я пришел ненадолго, у меня еще дела.

– Тимо уходит, – сказал Алик.

– Так. Прекрасное известие. Ай да Тимо! Это правда?

Тимо, стоя – на табурете у окна, кивнул головой.

– А почему он уходит?

– Он говорит, – сказал Алик, – что ему предложили на химкомбинате место начальника крекинг-установки, зарплата на сорок рублей больше, чем у нас.

– Это правда?

Тимо вздохнул и опустился на пол.

– Все правильно, – сказал я. – Кроме суммы. Эти сорок рублей звучат как тридцать сребреников… А, Тимо?

– Зря ты так, – вяло сказал Тимо. – Ничего особенного, перехожу на другую работу. – Он старательно прятал от меня свои глаза.

– Эх, Тимо, Тимо! Одевайся, пошли. Проводи меня немного. Или ты и разговаривать не хочешь?

– Да ладно, – сказал Тимо, – ничего особенного не происходит. Ухожу на химкомбинат. Ждал тебя…

– Дождался. Пошли! Вы, ребята, извините меня, я тороплюсь. Придется с этим карьеристом по дороге поговорить. Мы вышли на улицу и пошли по направлению к рынку.

– Рассказывай.

– Да нечего рассказывать, – сказал Тимо. – Ухожу на химкомбинат. Ничего особенного. Хорошие условия.

– Вон до той будки…

– Что до будки? – подозрительно спросил Тимо.

– Я буду терпеть эти «ничего особенного» и «химкомбинат».

– Не гожусь я для этой работы, – объявил Тимо еще раньше, чем мы дошли до будки. – Я же давно над этим думаю.

– И это все? Тимо кивнул.

– Индюк! – с облегчением сказал я. – Я-то думал! Так и сказал бы, что из-за этой дурацкой вчерашней ошибки ты так расстроился.

Тимо даже приостановился:

– Ничего подобного. Никакого отношения я к ней не имею. Я давно решил. А несколько дней назад решил окончательно. Пойду на химкомбинат и буду там спокойно работать. Крекинг-установку я знаю хорошо… А институт не для меня. В теории я просто слаб. Какой из меня ученый! Да ты сам знаешь.

– Что я знаю?

– Да ты сам сколько раз говорил, что у нас в институте на каждые десять человек приходится всего двое, из которых может получиться что-нибудь путное в смысле науки. Остальные все иждивенцы. Ты думаешь, я забыл? – Все время помню.

– Тимо, это же нечестно! Почему же ты решил, что я имею в виду тебя?

– Не ты. Я это решил.

– А ты не подумал, что можешь ошибиться?

– Подумал…

– Ну и что?

– Пока думал, заявления не писал, а когда решил окончательно, написал.

– Все это не так. Работаешь ты нормально.

– Как арифмометр, – сказал Тимо. – Как логарифмическая линейка. А я ведь должен работать как ученый. Да ты сам знаешь, что я прав.

– Не знаю, – сказал я сердито. – Ничего не знаю. Легче всего на меня все свалить. А сейчас тебе уходить нельзя. Подожди окончания работы, а потом уходи куда хочешь.

– Нет.

– Что нет?

– Ждать долго, – объяснил Тимо. – И потом, какое я имею право на эту работу? Никакого.

Тимо стоял передо мной и смотрел мне прямо в глаза.

– Выбрось ты все это из головы, – сказал я. – У каждого бывают сомнения, но решать вот так, как ты, бесповоротно, никто не имеет права.

– А я не сразу.

– Откуда тебе эти мысли в голову полезли?

– Ты знаешь, я раньше над этом как-то не думал, – сказал Тимо. – А после того как женился, и особенно после того как у нас ребенок появился, я все больше стал думать о себе и вообще о жизни. И тебя часто вспоминал, ты же мой самый близкий друг. И потом я вдруг понял, что я и есть тот иждивенец, о котором ты говорил. А я не хочу быть иждивенцем. И эту степень я не хочу получать за чужой счет. Никто мне не скажет этого. Даже, может быть, и не узнает. Но я-то буду знать, что я иждивенец. И всю жизнь так. Не хочу.

– Тимо, – я не знал, что ему сказать, потому что никак не мог – собраться с мыслями. – Но почему ты не пришел ко мне, почему ты мне ничего не сказал? Поговорили бы, выяснили, что происходит на самом деле…

– Надо было, – вяло сказал Тимо. – Все собирался. Знаешь, я всегда целину вспоминаю. Как мы там хорошо с тобой жили. Помнишь нашу палатку? Я все время вспоминаю. С тех пор как-то все изменилось.

– Так что же, ты со мной только в Актюбинске можешь дружить ?

– Да нет, – сказал Тимо. – Дело не в Актюбинске. Что-то в нас самих переменилось. Больше в тебе, по-моему. Слушай, а чего это мы на рынок пришли?

– За цветами – сказал – я. – Надо купить букет цветов, желательно хороших роз.

Мы их купили. Большой букет свежих пунцовых роз.

– Ты куда это собрался?

– На вокзал, – сказал я. – Провожать одну приятельницу. Тимо, дай мне время подумать, я тебя прошу. И ничего без меня не решай. Я тебе честно скажу – уходить тебе или нет. Ты мне веришь?

– Верю, – сказал Тимо. – Но я и себе верю.

– Правильно, – сказал я. – Но я ведь умнее. А, Тимо?

– Иди к черту! – сказал Тимо и в первый раз улыбнулся.

– Обещаешь?

– Ладно. Подожду немного.

– Только не устанавливай срока. Я тебе скажу. Честно. Мне надо подумать.

Мы попрощались. Я шел и думал, словно выполнял обещание, только что данное Тимо. Странно устроен человек, странно и хрупко. Я ведь не Тимо имел в виду, когда, говорил об «иждивенцах науки». Честное слово, не его. А он все принял на свой счет… А может быть, он прав? Так прав или нет?! Тебе ли решать это?.. Надо же! Даже не помню, когда и что я ему наговорил. Слова. Просто слова… А они, однажды сказанные, существуют отдельно от тебя и что-то меняют в окружающем мире. Просто слова. Однажды сказанные и давно забытые. Мы еще поговорим, Тимо. Обещаю.

Я спросил у дежурного по станции, где стоит состав, отправляющийся на Трускавец. Он сказал, что на перрон он будет подан часа через полтора, не раньше, а сейчас стоит где-то в депо.

Проводник первого вагона, полная женщина средних лет, мыла пол.

– Хорошее дело – цветы, – одобрила она и открыла мне дверь в третье купе. – Вот это, что ли?

– Да.

Это было удобное двухместное купе, в котором так любят совершать свадебное путешествие молодожены. В купе было прохладно – так и тянуло к дивану, хотелось прилечь и закрыть глаза. Я разложил на столике цветы в виде немыслимо запутанного пасьянса и присел на несколько минут, только сейчас ощутив усталость от хождения. Спустя некоторое время в купе заглянула проводница:

– Вы еще не ушли?

– Да вот думаю еще записку написать… – сказал я, чтобы как-то объяснить свое пребывание в пустом купе. Я подумал, что и впрямь было бы неплохо написать записку, но мысль о том, что надо думать над ее содержанием, показалась мне невыносимой. Да и в конце концов цветы – достаточно полнозвучный и гармоничный завершающий аккорд, не нуждающийся ни в каких дополнительных эффектах.

Я пошел к выходу. Протянул розу проводнице.

– Спасибо, – сказала она. – Вот и у меня праздник. Написали записку?

– Нет, – сказал я. – К чему? Все слова – ложь. – Очевидно, надо было улыбнуться, потому что проводница посмотрела на меня с удивлением.

Я шел по вечерней улице к отцу. Я позвонил, и он открыл дверь. Это был странный и все же приятный вечер. Мы почти ни о чем не говорили, изредка обмениваясь словами. Было довольно-таки поздно, когда я собрался уйти. Он предложил мне остаться, и я был склонен к тому, чтобы согласиться, испытывая в теле какую-то вялость и ломоту, но отказался, потому что мне вдруг захотелось очутиться у себя дома. Я попрощался с ним, обещав завтра позвонить, и ушел. Он стоял на лестничной площадке и смотрел мне вслед.

Было очевидно, что ждать такси не имеет никакого смысла. За полчаса моего пребывания на стоянке очередь претендентов на услуги этого удобнейшего вида городского транспорта уменьшилась настолько незначительно, что простейший расчет предусматривал появление моей машины в лучшем случае на рассвете. Самое правильное было бы уйти, но сама мысль о ходьбе, даже до троллейбусной остановки, казалась мне невыносимой. Каждый раз, завидев приближающийся зеленый огонек, лидеры очереди бросались к машине, но, услышав немыслимый маршрут, предлагаемый закончившим смену водителем, понуро отходили на исходные позиции. За все время подъехали всего три машины, водители которых в этой ситуации произвели впечатление безрассудных великодушных чудаков, по непонятным причинам разрешивших сесть в свою машину каким-то посторонним людям с улицы.

Подъехало еще одно такси, водитель высунулся в окошко и объявил, что едет в шестой парк. На стоящих это не произвело никакого впечатления, да и по тону водителя чувствовалось, что он остановился просто для очистки совести, даже мысли не допуская о том, что найдется хоть один человек, кому понадобится ночью ехать в этот шестой парк, находящийся, очевидно, в полном удалении от мест, пригодных для обитания человека.

– Прекрасно, – испытывая прилив жгучей ненависти ко всем таксистам мира, неожиданно для себя сказал я. – Шестой парк – это как раз то, что мне нужно. Поехали!

Водитель, коренастый парень в гимнастерке, с полным добродушным лицом, удивленно посмотрел на меня, по-видимому, не сразу поверив в свою удачу.

– Вам куда? – на всякий случай переспросил он.

– Я же сказал, в шестой парк, если только вам это по пути, конечно…

– Как же! Машина же к шестому парку приписана, вон и на стекле цифра, – он открыл предусмотрительно запертую изнутри переднюю дверцу, и я под завистливыми взглядами очереди сел рядом с ним. Он включил счетчик, и машина сорвалась с места.

– Да, вот еще что, поедем в шестой парк, но по дороге заедем в одно место, – я назвал свой адрес.

– Это же в другом конце города, – озадаченно сказал ои.

– Известное дело, что в другом, – сварливо сказал я. – Ну и что? Может быть, туда проезд такси запретили?

– Смена кончилась, – пробормотал парень. – Я и так опаздываю, а это верных полчаса лишних.

Я откинулся на сиденье и закрыл глаза. Голова налилась тяжестью, ломило кости. Не хотелось двигаться. Я непроизвольно вздохнул, когда увидел, что машина замедлила ход у моего дома.

– Сдачи не надо, – он молча посмотрел на меня, и мне стало неловко за мой вынужденный обман. – В следующий раз – сказал я. – В следующий раз мы с тобой, друг, непременно съездим в шестой парк, а сегодня, извини, не могу. Заболел я, кажется.

Я неподвижно сидел в кресле и не испытывал никакого желания подняться и включить свет или произвести любое другое действие, свойственное человеку, пришедшему в свою квартиру. Я вспомнил, что это последний вечер так хорошо проведенного отдыха, но подумал об этом как-то нехотя и так же вяло, сделав усилие, отогнал эту почему-то вдруг показавшуюся мне неприятной и неуместной мысль.

С удивлением ощутил, что мое состояние даже отдаленно не соответствует привычному удовлетворению и спокойствию, охватывающим меня каждый раз по возвращении домой. Напротив, я испытывал какую-то беспричинную тоску, и беспокойство, и тревогу оттого, что я бессилен остановить поток, в который я погружался с каждой минутой все глубже, парализующий мою волю и Мышление.

Я встал, и включил свет, и заходил по комнате, выглядевшей в этот вечер непомерно большой и до отвращения неуютной, всем своим существом, буквально физически ощущая тоску, не понимая, в чем причины ее и истоки. Это было настолько непонятно и несвойственно мне, что я испугался. Я попытался связать в один клубок разбегающиеся мысли, и, когда, собрав все силы, мне на одно мгновение это удалось, я увидел вокруг себя пустоту, в которой бесполезно было искать ответа. Это продолжалось долго. Я бесцельно блуждал по комнате и передней, зашел в ванную и так же машинально, как и все, что я делал в этот вечер, включил свет. Из зеркала глянуло на меня неестественно бледное, измученное, с искаженными чертами лицо человека, в котором ни один из моих знакомых не признал бы меня.

Я вышел в переднюю, но что-то увиденное заставило меня вернуться и снова подойти к зеркалу. На стеклянной полочке рядом с бритвенным прибором и тюбиком зубной пасты лежал гребень. Я взял его в руки. Это был обыкновенный пластмассовый гребень, забытый здесь ею после утренней ванны.

Я стоял с этим гребнем в руках и очень отчетливо, во всех подробностях вспоминал сегодняшнее утро и чувствовал, как, вытесняя прочь все, меня обволакивает теплая душистая волна нежности. Я стоял и вспоминал, а память услужливо проворачивала передо мной красочную ленту, истинную стоимость каждого кадра которой я, кажется, начинал узнавать…

Я почувствовал, как прорвалась какая-то липкая пелена, до этой минуты покрывавшая мое сознание, изолировавшая его от мира, и только сейчас оно получило доступ к нему и обостренно и жадно, стремясь наверстать упущенное, начало впитывать в себя непривычно яркие цвета, запахи и звуки…

Это было похоже на чудо или на невероятно впечатляющей силы фокус, но мне с пронзительной ясностью открылась грань бытия, о существовании которой я знал всегда, но увидел ее впервые, и я изо всех сил вглядывался в нее, стараясь запомнить все, так как понимал и боялся, что скоро это видение исчезнет. Возможно, навсегда.

Я уверен – это была минута подлинного озарения, позволившая мне увидеть со стороны и ее и себя, сгорающих в высоком и чистом пламени, не подвластном отныне и навсегда расчету и правилам житейской логики…

Я снова и снова повторял ей все слова, сказанные ей, только сейчас узнав истинное значение, силу и сокровенный смысл их.

Я ощутил в себе счастье, впервые в жизни поняв, какое это ни с чем не сравнимое наслаждение – почувствовать себя в полной мере счастливым.

…А потом пришло ощущение утраты, и горечи, и досады на себя, и удивление. Я не мог понять и представить себе, что происходило со мной, как мог я добровольно расстаться с ней, хоть на один день, как буду жить без уверенности видеть ее изо дня в день рядом с собой…

Мне вдруг показалось, что моими действиями управляет какая-то посторонняя воля, доброта и сила которой во много раз превышают мою. Мне показалось так, когда я неожиданно для себя пошел к телефону, показалось на один неуловимый миг и прошло, потому что эта мысль, мимолетная и нелепая, исчезла навсегда, прежде чем я поднял трубку.

Я позвонил в справочную Аэрофлота, и мне ответила дежурная приятным, доброжелательным голосом. Она сказала, что самолеты в Трускавец вылетают через день по четным числам, что билеты на завтрашний двенадцатичасовой рейс в кассе имеются и что я могу быть уверенным, что летная погода, как минимум, сохранится во все дни этой недели. Я поблагодарил и положил трубку.

Я прикинул все свои дела на завтра, и выяснилось, что вполне справлюсь с ними до времени отлета. Успею заехать в сберкассу за деньгами, отложенными на летний отдых, в институт с заявлением о предоставлении очередного месячного отпуска и попрощаться с отцом. Я улыбнулся, представив себе ее лицо, когда она, выйдя из вагона в Трускавце, увидит меня на перроне.

Я разделся и лег. Настроение у меня было удивительно радостное и легкое, и омрачить его не могло даже то, что мое колено совершенно не вовремя, по какому-то странному совпадению именно левое, распухло, и покраснело, и причиняло мне довольно сильную, впрочем, вполне терпимую боль, время от времени отдающуюся короткими вспышками в мышцах нижней части живота и левого бедра.